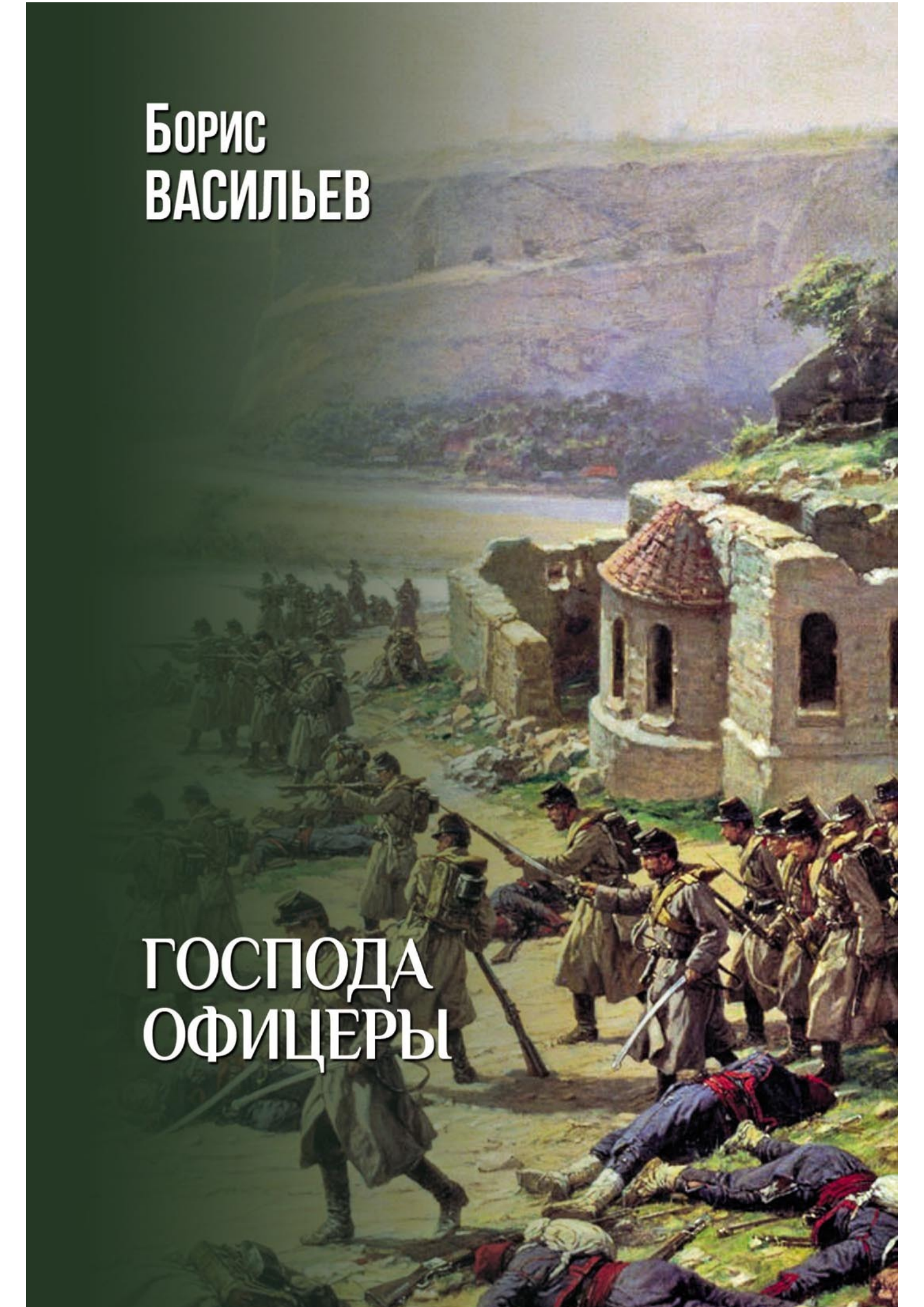


**БОРИС
ВАСИЛЬЕВ**

**ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ**



Собрание сочинений Б.Васильева

Борис Васильев

Господа офицеры

«ВЕЧЕ»

1980

УДК 821.161.1-311.6
ББК 84(2)

Васильев Б. Л.

Господа офицеры / Б. Л. Васильев — «ВЕЧЕ»,
1980 — (Собрание сочинений Б.Васильева)

ISBN 978-5-4484-5241-3

В данную книгу вошла вторая часть дилогии Бориса Васильева «Были и небыли» — роман «Господа офицеры», посвященный рускотурецкой войне 1877–1878 гг., способствовавшей освобождению Балканского полуострова от османского ига. Участниками важнейших исторических событий — сражения на Шипке, взятия Плевны, осады Баязета — становятся офицеры Олексины, для которых долг, честь и мужество превыше всего.

УДК 821.161.1-311.6

ББК 84(2)

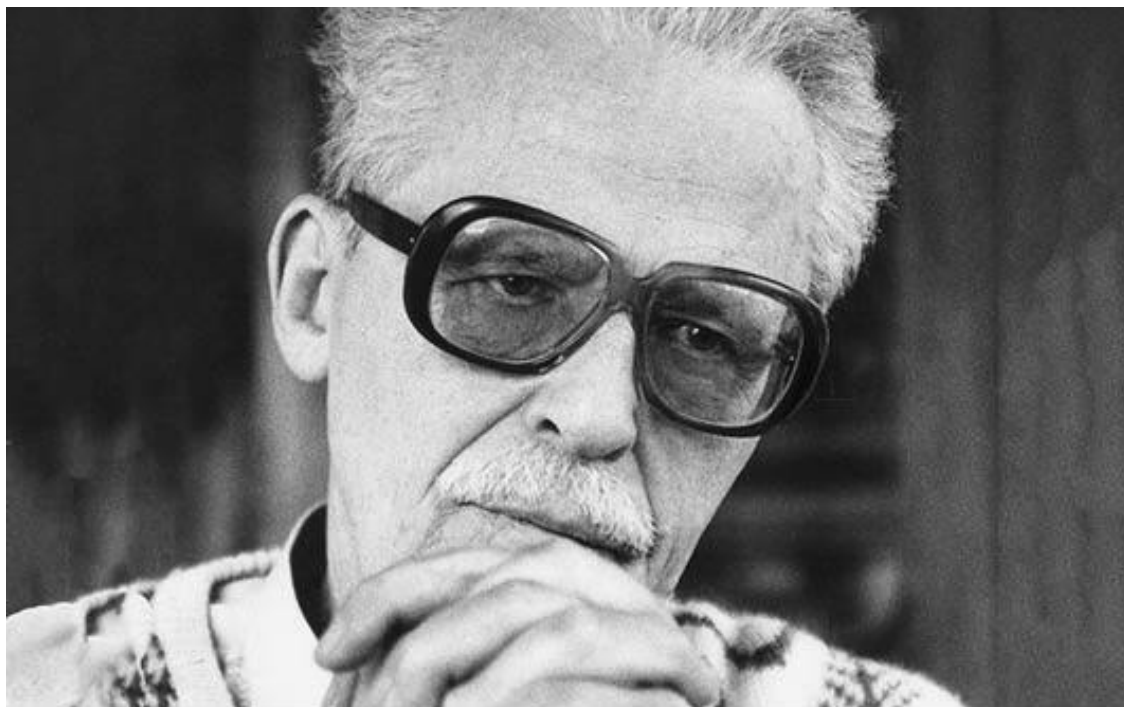
ISBN 978-5-4484-5241-3

© Васильев Б. Л., 1980

© ВЕЧЕ, 1980

Содержание

Глава первая	6
Глава вторая	25
Глава третья	47
Конец ознакомительного фрагмента.	67



Борис Васильев
(1924—2013)

Борис Васильев
Господа офицеры

© Васильев Б. Л., наследники, 2025

© ООО «Издательство „Вече“», оформление, 2025

Глава первая

1

В знойной тишине пели жаворонки. Шустрая лошаденка, неумоимо помахивая хвостом, легко тащила скрипучую телегу по мягкой проселочной пыли. Справа с вожжами шел говорливый молодой человек из недоучившихся, слева – Лев Николаевич. Василий Иванович Олексин сидел в телеге, хотя ему тоже хотелось слезть и идти пешком. Но слезть означало оказаться либо слева, либо справа и тем самым невольно нарушить расстановку сил накануне спора. А спор назревал, потому что молодого человека несло красноречие, а граф уже хмурился.

– Прогресс можно обеспечить только всеобщей грамотностью...

– Далеко еще? – спросил Василий Иванович, посмотрев на Толстого.

– Версты четыре, – не задумываясь, ответил молодой человек. – Нет, нет, не скажите, Лев Николаевич, я читаю журналы весьма серьезные. Человечество вздрогнуло, пробудилось от векового сна и готово шагать и шагать. Посмотрите, какие успехи в механике, в промышленности, в усовершенствованиях всякого вида. Наконец, электрический ток есть, что, вполне вероятно, та энергия, с помощью которой человечество...

Молодой человек Илья Самсонович Колофидин был сельским учителем и ярким адептом толстовской системы обучения. До сей поры он не встречал Толстого, но случай привел свидеться, и Илья Самсонович спешил высказаться. Весь день в Ясной Поляне он восторгался увиденным, но соблазнил ее хозяина не тем, что учил детей согласно толстовской методике, а упоминанием о «старце святой жизни», поселившемся невдалеке от села, где учительствовал Колофидин. Это брошенное вскользь сообщение, несмотря на заложенную в нем юношескую насмешку, привело к тому, что Лев Николаевич решил непременно познакомиться со старцем, тут же уговорил Василия Ивановича, и они с зарею выехали на телеге, на которой молодой человек прибыл в Ясную Поляну.

– Назад странничками обернемся, – сказал Толстой Олексину. – Походим, побродим, мир поглядим и людей послушаем.

Колофидин искренне восхищался толстовским методом обучения, не подозревая, что сам Лев Николаевич к этому времени уже начал возгораться новым пламенем.

– Прогресс – вот то новое божество, которое...

– Пустое, – уже не скрывая раздражения, буркнул Толстой. – Слово пустое, нет за ним никакого смысла. Трещат все: «Прогресс, прогресс!», а что же это такое? А ничего, логарифм времени, если угодно, а не аршин, не мера развития.

– Позвольте, Лев Николаевич, я не понимаю, – вскинулся Колофидин. – Прогресс есть движение общества вперед на основе накопленных знаний.

– А раньше это общество назад двигалось? Или вбок?

– Но как же можно сравнивать, Лев Николаевич, – не понимая, что имеет в виду собеседник, горячась от этого, сказал Илья Самсонович. – А всеобщая образованность, к которой вы сами же стремитесь, которую... то есть в которой вы находите... Нет, нет, вы же не последовательны, Лев Николаевич!

– Последовательность – черта спорная. Заметьте, что самыми последовательными людьми являются люди ограниченные. Их хватает на то лишь, чтобы уяснить, а чаще затвердить себе одну идею, и они последовательно держатся за нее, поскольку не могут ничего нового воспринять. А мир меняется каждое мгновение. День мой – век мой. Век! Его же понять

надобно, осмыслить, себя в нем пересмотреть, а вы говорите – последовательности нет. И слава богу, что нет. Последовательность исправникам нужна да лгунам, чтобы во лжи не запутаться.

Лев Николаевич всегда любил и умел спорить. Но именно в этот год – год начала мучительнейших исканий, растерянности, даже мыслей о самоубийстве – граф часто спорил ради самого спора. Он горячился, порою обижал собеседника, а потом долго ругал себя за несдержанность и искренне сожалел и мучился. Зная это, Василий Иванович продолжал сидеть в неудобной и тряской телеге, не желая быть втянутым в разговор.

– Но как же можно, как же можно, Лев Николаевич, прогресс отрицать! – сокрушался Колофидин, не понимая, чем вызван гнев Толстого. – Прогресс – явление общеевропейское, если угодно, по прогрессу о культурности страны ныне судят, равно как и по распространению грамотности.

– Кто судит? – Толстой сердито задвигал клочковатыми бровями. – Говоруны, сударь, и судят. Говоруны. Придумали словцо новомодное и пошли все под него подгонять. Машину изобрели – прогресс, пушку новую выдумали – прогресс, мужика грамоте обучили – опять прогресс! Говорите, по грамотности и о культуре страны судят? Уж и подумать лень, коли словцо наготове. Вон, Швейцарию возьмите для примера – все грамотны, а что миру отдано? Часы Павла Буре? – Лев Николаевич оглянулся на Олексина. – А вы чего в телеге трясетесь? Опять споров бежите? Где истина?

– Посередине, – сказал Василий Иванович, улыбаясь. – Вот я ее и придерживаюсь.

Граф недоволено фыркнул и отвернулся. Некоторое время спорщики шли молча. Колофидин робко поглядывал на Толстого, потом не выдержал:

– Не понимаю, Лев Николаевич, ей-богу, не понимаю вас. Как же тогда цивилизацию оценивать, культурность стран, ежели и грамотность вы ни во что уж не ставите?

– Почему ни во что не ставлю? Ставлю очень высоко, неверно истолковали. Вам же не приходит в голову по сытости населения культурность измерять? В Индии или Китае голод каждый год да и грамотности никакой нет – что же, в некультурные страны их зачислим? С буддизмом не знакомились или с конфуцианством? Познакомьтесь: культура величайшая, Европе такая не под силу. Вот какие парадоксы в мире, а мы, зная о них не желая, все о прогрессе твердим и радуемся как дети: ах, еще одну железку расплющили!

– А чем все же разницу измерить? – не выдержал Олексин. – Ведь есть же она, разница эта: одни народы вперед ушли, другие отстали. Как же вы несоответствие сие объясните, Лев Николаевич? Сытостью не годится, грамотностью тоже нельзя, научным прогрессом – упаси бог, слово для вас почти ругательное.

– Бессмысленное, – буркнул Толстой недоволено.

– Хорошо, пусть бессмысленное. Однако страны неодинаковы, народы неодинаковы: одни достигли высокой культуры, другие не достигли еще, а у иных – в прошлом она, как сон, в традиции выродилась или в культ. Так ведь?

– Покурим, – сказал Толстой. – Покурим, остынем, подумаем и начнем сызнова.

Колофидин остановил лошадь, отпустил супонь и расслабил упряжь, подвесил торбу с овсом. Василий Иванович лежал на спине, разглядывая бездонную жаркую синеву, Толстой молча курил, сидя рядом. Илья Самсонович подошел к ним, присел – бочком, поодаль, не отрывая глаз от Льва Николаевича. Олексин улыбнулся, вспомнив самого себя: совсем недавно он точно так же смотрел... нет, пожалуй, не смотрел – взирал на графа. Теперь отношения их упростились, став воистину дружескими. «Молодость», – подумал он и сказал неожиданно:

– Что-то Федя не пишет. Где он, что с ним?

– Это нигилист-то наш? – улыбнулся Толстой. – Ищет, Василий Иванович, истины разыскает. Вот коли бы в этом прогресса добивались, я бы и сам прогресс понял. А то все – внешнее. Вовне ищем, вовне достигаем, вовне и радоваться хотим. А не понимаем, почему радости нет.

Колофидин поморгал белыми ресницами, неуверенно кивнул, ничего не поняв, но спросить не решился.

– Толчками человечество восходит, – все еще сердито продолжал Лев Николаевич. – Большинство людей мыслят неразумно или вообще не мыслят. И живут поэтому временем объективным – часами, годами, веками даже. Вроде бы время движется, а на самом-то деле стоит. Иной раз десятками и сотнями веков стоит на месте, словно замерев для какого-либо народа. Скажем, для африканских кафров или бушменов замерла история. Нет ее, есть лишь временное течение, объективная реальность. Но приходит к таким кафрам провидец, пророк, мудрец, находит истину – и народ начинает время мерить субъективно, прожитым и пережитым, количеством и силой впечатлений. Вот тогда и есть смысл говорить о прогрессе как о толчке, о ступени вверх.

– А потом? – тихо спросил Колофидин.

– Что – потом?

– Потом что с народом, после толчка?

– Потом? – Лев Николаевич подумал, недовольно повздыхал и закурил новую папиросу. – Потом движение затухает, хотя прогресс еще есть, поскольку есть еще инерция толчка. Ну а уж после того истину, мудрецом открытую, начинают приспособлять к тому, что получилось. И истина уже не зовет, не будоражит умы, не просвещает их, а – объясняет, что к чему. Она постепенно начинает жить во времени, а не сверх него. Так получилось с учением Христа: истину укрыли, запутали, приспособили, заобъясняли настолько, что все в обрядность обернулось. Как молиться да как креститься. А Христос не о том учил, совсем не о том.

– А о чем? – тихо спросил Василий Иванович.

– Возможно ли постичь... – вздохнул Толстой. – Да и «постичь» – слово не то. Тут разум бессилён, тут что-то иное.

Он замолчал, нахмурившись. Олексин уже ругал себя, что коснулся запретного, даже не столько запретного, сколько болезненного: точно ткнул пальцем в открытую рану. Чтобы уйти от этого, сгладить, перевести разговор на иное, спросил о заглохшем – о разнице в культурном развитии.

– Думаю, что о степени культурности страны следует судить не по распространению грамотности, – как-то нехотя сказал граф. – Следует судить по степени нравственности высшего слоя населения. Наиболее развитого, способного сомневаться, а следовательно, мыслить. Мыслить, а не заучивать готовенькое. На Руси у нас хорошо, если четверть грамотна, а у нас – Пушкин, Герцен, литература, мысли. Уничтожьте наш высший слой, и нравственность замрет, даже если поголовно все станут грамотными. Культура – это ведь не столько знания, сколько воспитание, традиции семьи, круг интересов, независимость и оригинальность мышления: она богатой почвы требует, вековой. Подкормили лошадку, Илья Самсонович? Так, может, тронемся с богом, а?

Вновь неумоимо, как заведенная, помахивала хвостом лошаденка, вновь Толстой привычно шагал сбоку. Василий Иванович в телегу не сел, шел с другой стороны, держа вожжи, а Колофидин плелся сзади, то ли уясняя сказанное, то ли споря с этим. Припекало, в знойном безветрии самозабвенно пели жаворонки.

– Покойно-то как, – вздохнул Олексин.

– Вот-вот, – с живостью подхватил Лев Николаевич, точно Василий Иванович высказал бог весть какую важную мысль. – Нет для нас времени, чувствуете? Будто остановилось оно, замерло, а ведь каждый миг кто-то умирает или на свет божий рождается – для них время есть, существует. И для солдата существует, что сейчас на Балканах под пулями стоит, еще как существует! Время живое, оно не абсолюто, замерший в вечно отмеренных мерах. Тогда отчего так? – Он вдруг оборотился к молодому человеку: – А вы почему вопросов не задаете?

Ведь знаю же, что не поняли рассуждений моих, так почему же не спрашиваете, истины не добиваетесь?

Колофидин растерянно пожал плечами. Он не привык к такой напористой манере разговора, терялся и замыкался в себе.

– Стесняется, – тихо сказал Василий Иванович.

– Стесняться надо скверных поступков, а коли не знаешь, сомневаешься в чем, так спрашивай, спорь, ответа требуй, – проворчал Лев Николаевич. – А главный вопрос в том состоит, что лишь человеку дано абсолютность и относительность времени чувствовать. Стало быть, это свойство души его, а тогда – зачем?

– Неправда, неправда! – неожиданно закричал Илья Самсонович, догнав телегу со стороны Олексина. – Это... это совершенно неправильно, нематериалистично, нелогично даже! Зачем же вы затемняете?

Он говорил, захлебываясь и путаясь в словах; мысль рвалась, терялась, и молодой человек нервничал и мучился еще больше. Василий Иванович глядел на него с удивлением, а Толстой оживился:

– Ага, решились поспорить?

– Это не спор, нет, нельзя спорить с очевидностью. Вы же всегда к ясности стремились, вся система ваша – ясность и простота. А сейчас это... про время. Зачем же?

– Вот и я спрашиваю: зачем? – вздохнул граф. – Неправильно рассуждаю? Возможно. Укажите, где ошибся. Или, по-вашему, вообще тут нет места рассуждениям, ибо ложны они, эти мои рассуждения, изначально? Но ведь дитя времени не разумеет? А ребенок? А взрослый мужик? Я не о чувстве времени говорю, я о разумении его толкую. Чувство времени и собаке ведомо, а вот разумеет его лишь человек способен. И чем выше он духовно, тем глубже разумеет. Так зачем же ему разумение сие? Вот ведь в чем тут вопрос.

– Да в чем же тут вопрос, в чем? – почти в отчаянии прокричал Колофидин.

– В том вопрос, что в смерть он упирается, – строго сказал Лев Николаевич. – А что есть смерть – конечность или бесконечность? И почему, повторить вынужден, только человеку субъективное время замечать дано? Не потому ли, что из всех живых, на земле сущих, он один знает, что смертен? И заметьте: чем разумнее человек, тем больше он это субъективное время ощущает. Не потому ли, что к бесконечности стремится душа его?

– Если под бесконечностью пустоту разумеете, тлен, распад химических элементов, то зачем же в такую пустоту стремиться? – спросил Олексин.

В последнее время Лев Николаевич часто и даже с некоторым пристрастием заговаривал о смерти, и поэтому Василий Иванович задавал вопрос с осторожностью.

– Легко быть праведником, в Бога не веруя, – вздохнул Толстой. – Значит, химические элементы под Плевной в атаку идут? И бабы тоже эти самые элементы на свет рожают в слезах да в муках? Легко вы живете, господа материалисты, на все-то у вас ответ готовенький, на все-то у вас объяснение, как в классе. Какие там сомнения, когда все ясно! От лукавого все сомнения, и любовь-то сама уж не любовь вовсе, не озарение Божие, а химическая реакция с выделением тепла.

– Я этого не утверждаю, Лев Николаевич.

– Утверждаете! – гневно крикнул Толстой, сдвинув густые брови. – Не прямо, так косвенно, а все равно утверждаете. Смерть нельзя отрицать, равно как и жизнь, а коли столь просто все объясняете, то столь же просто и жизнь вынуждены объяснять. Ибо неразделимы они, понятия эти, как неразделимы два времени – субъективное и объективное. И может... – Он внезапно остановился, помолчал, сказал неуверенно, точно спрашивая самого себя: – Может, и живу-то я тогда лишь, когда субъективное время чувствую? А когда объективно оно течет, может, тогда-то и не живу? Не живу, а существую лишь как набор химических элементов. А жить – значит в своем времени существовать. В своем, собственном, от других отличном.

Душа когда с тобой сливается, так и время твое течет. И это жизнь, а то... То – смерть. Да. Как просто все. Как просто!

– Если так просто, может, и к старцу не стоит ехать? – простосердечно спросил Василий Иванович.

– К старцу? Отчего же, поедem. Непременно поедem и спросим непременно. Что есть жизнь и что есть смерть? Что есть время мое, а что – безвременье? И зачем я во временах сих между жизнью и смертью? Зачем?

Илья Самсонович вновь отстал, плелся за телегой, глотал пыль, сокрушенно бормоча:

– Нет, не понимаю. Не понимаю. Ничего не понимаю!..

2

Старец был маленьким, чистеньким, благообразным. Аккуратненькой была темная ряса и скуфейка, и даже редкая борода росла так ровно, что казалась подстриженной, а голые розоватые щечки над нею – старательно выбритыми. И на левой чистенькой розовой щеке сидела большая сытая вошь.

Василий Иванович разглядывал пустытника с жалостью и брезгливостью одновременно. Чувства эти существовали как бы в борьбе, и поэтому Олексин поначалу не слышал, что именно рассказывал чистенький старичок, вызывавший у него тошнотворную гадливость, по всей вероятности, лишь старческой забывчивостью. «Хоть бы рукой по щеке провел, – думал Олексин с тоской. – Почесался бы, что ли...»

Вошь на чистой щеке привлекала его внимание куда больше, чем та капелька, что частенько свисала с кончиков носов у виденных им прежде старичков-странников, с которыми Лев Николаевич часами вел беседы в Ясной Поляне. То было, в общем, чем-то обычным, к чему он вскоре притерпелся, сейчас же мерзкое насекомое невольно завораживало его, отвлекало, бесило, путало мысли. Он мог только поддакивать. До тех пор, пока громкий голос Толстого не вывел его из транса:

– Стало быть, солдаты в Болгарии мрут во искупление грехов наших? Когда же гекатомбу такую Бог потребовал? Где, укажите мне, где, в каком Писании отмечено сие?

– Кто без креста, тот враг Божий, – ласково улыбался старец. – И благословен есть меч Христов.

– Христос призывал прощать врагов.

– Но не веры, не веры, – продолжал мягко улыбаться собеседник, и жирная, намертво всосавшаяся в розовую щечку вошь шевелилась вместе с кожей, точно принимая участие в этой ласковой, располагающей улыбке. – Враг веры Христовой без прощения и без спасения. Души у него нет, души. Душа, она при крещении вкладывается. И крест есть, – старец широко развел руки, показывая, – есть держатель души в плоти нашей грешной. Есть знак великий и символ.

– Значит, кто без креста, тот...

– То погано, – строго сказал пустытник. – Коль не закреплена душа в теле символом муки Христовой, так уйдет она со днями младенчества. Потому нехристь не человек есть, а подобие его. А православие есть правая сила Христова.

– Так выходит, что православные уж и не рабы Божьи, а как бы гвардия его? Православному, следовательно, все можно, все дозволено, и всегда он прав в делах своих? Правильно ли вашему рассуждению следую? Тогда где же свобода воли? Ведь крещение не освобождает от греха...

Василий Иванович не следил за началом разговора и не представлял, какую цель ставил Толстой. Хорошо зная графа, чувствовал, как копится в нем злое торжество, но не понимал его причин. Тем более что в последнее время Лев Николаевич очень страдал от прорывавшегося подчас сердитого раздражения, пытался обуздать свою нетерпимость, а тут – почти радовался.

Закипал внутренне и радовался этому кипению: Олексин видел знакомые огоньки в глубоко запрятанных серых глазах.

– Кто к Богу ближе, тот и прав.

Старец улыбался неизменно ласково и покровительственно, словно заранее знал все ответы, прощал собеседнику заблуждения, а заодно и отпускал грехи. Однако не это приторное смирение и одновременно превосходство вызывало негодующее кипение Толстого. Причина была в неприятии им несложного набора истин, которыми оперировал старец.

– А магометане считают, что они к Богу ближе, и иудеи то же проповедуют, да и все прочие. Стало быть, религия разъединяет народы, а не объединяет их? Стало быть, под крестом ли, под полумесяцем или еще каким символом зло собрано, а не добро? Зло, добром себя полагающее?

– А дух смущен. Смущен дух.

– Смущен, потому что истины дух этот алчет, а его ложью кормят. Коли ученье ложью прикрывается, то лживо оно само. Коли приверженцев избранными полагают – ложь; коли на убийство себе же подобных призывают – ложь; коли спасение не в смысле учения видят, а в форме одной лишь – опять ложь. Разве Христос тому учил? Он учил, что все люди – братья: вот истина; он учил – не убий: вот истина; он учил любить, а не ненавидеть, прощать, а не мстить – вот смысл учения его.

На мгновение одно лишь замерла улыбка на губах старца. Но он совладал с собой, вновь благодушно и ласково распустил ее по лицу.

– Гордыня то. Гордыня тебя обуяла. Молись.

– Не благословляй, старик, – сурово сказал Толстой, вставая. – Руки твои мечи благословляют, а слова зло оправдать тщатся. Труп ты живой, а не мудрец. Пойдемте, Василий Иванович.

Толстой вышел первым, не оглядываясь. Не ожидая такой стремительности, Олексин замешкался и, ощущая виноватую конфузливость, остановился на выходе, чтобы поклониться. Оглянулся, увидел старца уже без улыбки, увидел и руку его, тянущуюся к левой щеке, где так уютно пристроилась вошь. И старец мгновенно заулыбался, закивал головой и стал широко крестить уходящих тою же рукой, что тянулась к зудящей левой щеке.

Лев Николаевич шагал быстро, и Олексин нагнал его уже в конце тропы, что вела от замшелого сруба старца к лесной дороге. Ожидал гневных речей в адрес изолгавшихся фарисеев или, наоборот, яростного приступа самобичевания, но Толстой встретил смехом, громким и немного злым.

– Ложь-то как сама собой упивается, а, Василий Иванович? Беспредельно падение, коли знают все, что ложь кругом, и упиваются ею, и глазом не моргнут, и правды уж и не боятся, а не понимают ее. Не приемлют более, будто ты на другом языке с ними говоришь. Ну? Что вы молчите?

– Неправда, не все изолгались.

– Конечно, не все, – весело согласился Толстой. – Коли бы все – завтра бы застрелился. Думал уж и об этом, дорогой Василий Иванович, думал. А поговорил вот с проповедником сим, во лжи плавающим, и понял, что не стоят они смерти моей. Нет, искать надо, что лжи этой ползучей противопоставить, искать, в чем она и как она ими спрятана, истина-то Христова.

– Проповедник оказался старым и неумным, Лев Николаевич, – сказал Олексин. – Живет он в своих представлениях и в своем времени, не понимая, что время его прошло. Старики обладают зловещей способностью задерживать в себе время, как в консервах.

– Не соглашусь, Василий Иванович, он умен, но умен зло, злым умом. А злой ум под себя гребет. Все – себе, и ничего другим, кроме грошовых поучений. И уж никогда не задать таким людям себе вопроса, от которого спасаются... либо вешаются.

– Какого же вопроса?

– Простого: зачем я? – Толстой помолчал. – Этот старик все правильно говорил, только наоборот, понимаете? Будто перед мыслями его стоял знак минуса. Вот и получилось у него, что Христос приходил в мир, чтобы разъединить людей по убеждениям и совести, что православный всегда прав, всегда, без исключения, во всех случаях жизни, что... – Он неожиданно замолчал. Потом спросил: – Америку свою помните еще? Вешали вас там. Простые люди, пастухи.

– Не вешали. Пытали и стращали.

– Пытали – и отпустили. – Толстой остановился, пытливо посмотрел на Олексина. – А почему? Не потому ли, что не сопротивлялись вы? Не сопротивлялись, вот вас и отпустили с миром. А коли бы сопротивляться надумали?

– Их много было, – улыбнулся Василий Иванович. – Какое уж там сопротивление.

– Нет, не потому! – вдруг громко крикнул Толстой. – Не потому, Василий Иванович, не потому!

Он вновь быстро зашагал по тропе. Где-то близко, за кустами, шумно вздохнула лошадь: на дороге дождался Илья Самсонович.

– А вошь на щеке заметили? – Лев Николаевич неожиданно обернулся к Олексину и весело расхохотался. – Жирную такую, здесь, на щеке? Заметили? Затем и посадил, чтобы мы заметили: она ведь дохлая, вошь-то эта. Он ее для приемов сажает, как орден. Вот ведь до чего изолгаться можно, коли не по правде живешь! До мертвой вши вместо ордена. Потому что без веры, Василий Иванович, без истинных убеждений человек превращается в животное. Да не в простое, а в государственное. В государственное животное, так-то вот, дорогой мой нигилист, так-то вот.

3

В то время как русские войска стягивались к Дунаю, Кавказская армия уже пересекала границу Османской империи. Передовые части ее по горным, раскисшим от тающих снегов дорогам почти без боев вышли на линию Баязет – Ардаган, волоча на себе увязавшие в грязи по ступицы орудия и повозки.

Этот театр военных действий хорошо был знаком по войнам 1828 и 1854 годов. Знакомы были крутые, узкие дороги, караванные тропы, перевалы и ущелья, укрепив которые турки могли надолго задержать продвижение наступающих войск. Чтобы воспрепятствовать этому, командир специально сформированного корпуса генерал от кавалерии Михаил Тариэлович Лорис-Меликов с благословения главнокомандующего Кавказской армией великого князя Михаила Николаевича наступал по трем направлениям. Действовавший на левом фланге Эриванский отряд генерал-лейтенанта Тергукасова получил задачу овладеть городом и крепостью Баязет, а в дальнейшем во взаимодействии с главными силами наступать по Алашкертской долине к Эрзеруму.

– Знакомый путь, знакомый, – говорил Тергукасов на военном совете, расхаживая по штабной палатке. – Две особенности прошу припомнить и не забывать.

Генерал был невелик ростом и не любил сидеть, когда сидели подчиненные. Он всегда оставлял за офицерами право личной инициативы, но учил принимать во внимание не только военные соображения.

– Мирное население этой местности – малоазиатские христиане. На нас они уповают как на спасителей своих, и не учитывать сего невозможно: это первое. Второе – горы заселены курдскими племенами, воинственными и разбойными. Коли нейтралитет соблюдут – удача, однако требую крайней осторожности. В ссоры не вступать, стариков не оскорблять, скот, имущество и женщин не трогать. Карать за нарушение сего приказа. Карать прилюдно, сурово и

незамедлительно собственной властью каждого командира. Мы несем свободу, господа, миссия наша священна, и дела наши, как и помыслы, должны быть святы и благородны.

Курды внимательно следили за продвижением русских, но ни в переговоры, ни в схватки не вступали. Русские держались дорог и селений, в горы не поднимались и исконно курдских территорий не занимали. Обе стороны настороженно блюли вооруженный нейтралитет.

– Ну абреки, – вздыхал подполковник Ковалевский, встречая гарцующих на склонах всадников. – Ну не приведи Господь. Голубчик, Петр Игнатьич, не поторопите ли обозы? Растянулись, отстали. Да заодно и санитаров...

В санитарном отряде ехала Тая. Гедулянов и без просьб Ковалевского старался не спускать с нее глаз, навещал, просил не отходить за цепь разъездов. А командиру Хоперской сотни, что несла арьергардную службу в тыловой колонне 74-го Ставропольского полка, сотнику Гвоздину сказал:

– Головой за нее отвечаешь.

Сотник недобро усмехнулся в прокуренные усы, но слова принял к сведению. Капитана Гедулянова знали все.

18 апреля Тергукасов вступил в Баязет. Оборонявшие его турецкие войска без боя отошли в горы Ала-Дага, несмотря на категорический приказ командующего Анатолийской армией Мухтара-паши во что бы то ни стало удержать город. Вечером того же дня генерал вызвал к себе подполковника Ковалевского.

– Удирают, – с неудовольствием сказал он в ответ на поздравления Ковалевского со взятием Баязета. – А я бить их пришел, а не по горам бегать. Следовательно, должен настигнуть. Настигнуть и сокрушить. А настигнуть с тылами да госпиталями не могу, и посему решил я здесь все оставить и преследовать налегке.

– А курды, ваше превосходительство? – спросил осторожный подполковник.

– Потому вас командиром и оставляю, – сказал Тергукасов. – Курды покорность изъявили, но вы – старый кавказец.

– Старый, ваше превосходительство, – вздохнул Ковалевский. – Слышал я, полковник Пацевич прибывает?

– Старшим – вы, – сурово повторил генерал. – Пацевич кавказской войны не знает, а хан Нахичеванский – глуп и горяч, хотя и отважен. – Он помолчал, глянул на Ковалевского из-под густых, сросшихся на переносье армянских бровей. – Курды – забота. Может, торговлю с ними? Посмотрите турецкие трофеи. Торгующий враг – уже полврага.

– Слушаюсь, ваше превосходительство.

– Надеюсь на вас, крепко надеюсь. Ежели Баязет отдадите, я в капкан попаду.

– Слушаюсь, ваше превосходительство, – еще раз сказал подполковник.

На следующий день Ковалевский обследовал захваченные турецкие запасы, выделил для продажи курдам и населению соль, муку и армейские одеяла и поручил торговлю прапорщику Терехину. Терехин уговорил маркитантов и местных купцов развернуть на базаре оживленную торговлю. Курды быстро узнали об этом и стали группами появляться в городе, посылая в большинстве случаев стариков и женщин с небольшой охраной – скорее почетной, чем боевой.

Офицеры бродили по узким и крутым улочкам города, пили в кофейнях густой кофе, курили кальяны да осматривали цитадель – главную достопримечательность Баязета. Цитадель представляла собой порядком запущенный огромный замок, стоящий на уступе скалы над городским базаром. Однако долго осматривать ее не пришлось: вскоре прибыл капитан Федор Эдуардович Штоквич – человек угрюмый, неразговорчивый и обидно резкий.

– Начальник военно-временного нумера одиннадцатого госпиталя Тифлисского местного полка капитан Штоквич, – представился он Ковалевскому. – Назначен комендантом цитадели вверенного вашему попечению города. Поскольку там отныне будет размещаться госпиталь, все посещения цитадели запрещаю, о чем и ставлю вас в известность.

Капитан Штоквич смушал добродушного подполковника скрипучим голосом, недружелюбием и странной манерой смотреть в центр лба собеседника. Ковалевский чувствовал себя неуютно и с трудом сдерживался от желания почесать место, куда устремлялся жесткий взгляд начальника госпиталя.

– Хорошо, хорошо, – он поспешно покивал и, страдая от просьбы, добавил: – В моем распоряжении оставлены младший врач Китаевский и милосердная сестра при двух санитарных фурах. Не угодно ли вам, капитан, допустить их в цитадель, дабы все санитарные...

– Сестра милосердия – ваша родственница?

– Дочь, – виновато признался Ковалевский. – Изъявила добровольное желание, имеет документ.

– Включу на общих основаниях, – сухо сказал Штоквич. – Милосердной сестре будет, естественно, предоставлено право беспрепятственного выхода из цитадели.

– Спасибо вам, спасибо, – зашепел подполковник, чуть ли не раскланиваясь.

В тот же день Тая перебралась в цитадель. До этого она один раз была там вместе с капитаном Гедуляновым, но крепость ей не понравилась, и осматривать ее они не стали. Посидели в переднем дворе, где приятно журчала вода в бассейне, заглянули во внутренние дворики – также тесно зажатые мощными стенами, с множеством дверей и проходов, также вымощенные каменными плитами, только без бассейнов – и ушли. Теперь ей предстояло здесь жить, и слушаться приказа она не могла.

Комендант цитадели выделил ей две комнатки во втором внутреннем дворе, приказал обставить всем необходимым и даже допустил излишество в виде двух ковров и старого помутневшего зеркала. Исполнив это, от знакомства уклонился, и Тая видела его лишь издали. Даже записку о беспрепятственном выходе из крепости ей передал младший врач 74-го Ставропольского полка Китаевский.

Максимилиан Казимирович Китаевский был человеком тихим, старательным и неизменно ласковым со всеми без исключения. С невероятными трудностями получив образование, дорожил должностью и службой, позволявшей ему кое-как содержать большую семью, был исправен во всем, но угождать не умел и не стремился. Не имея частной практики, бескорыстно помогал бедным казакам, горцам и бродячим цыганам, чем и снискал себе в полку уважение пожилых офицеров. Он не то чтобы дружил с Ковалевским, но бывал у них, знал Таю с детства, а несчастье с ней воспринял с особой болью, поскольку имел дочь и племянницу того же возраста. И по дороге к Баязету, и в цитадели он неизменно опекал ее, любил вечерами пить с ней чай, рассказывать прочитанное или случаи из жизни, кои полагал поучительными.

В госпитале было скучно. Больных и раненых в деле почти не числилось, забот у Таи пока не было; читала книги и журналы, которые добывал Гедулянов, каждый день навещала отца да пила длинными вечерами чай с младшим врачом Китаевским.

– Читал я в юности одну книжечку, – плавно журчал Максимилиан Казимирович, подомашнему, с блюдечка, прихлебывая чай. – Запомнил название уж, но суть не в названии, а в мыслях, кои содержала она. Человек у огня живет, а без него жить не может, так-то, помнится, в ней говорилось. И огонь тот женщина хранит, дочь от матери его зажигает, мать дочери передает из века в век от времен библейских...

Китаевский говорил тихо, не мешая думать, и Тая – думала. Неизменно от веселых войсковых побудок до грустных вечерних зорей думала, где же он сейчас, этот странный, издерганный, мучительно дорогой ей Федор Олексин. Как добрался до Кишинева, сумел ли попасть в действующую армию, нашел ли дорогу к столь необходимому для него Михаилу Дмитриевичу Скобелеву. И не заболел, не простудился ли, не ранен ли шальной гранатой, не обманут ли людьми холодными и жестокими. Эти последние думы были особо тревожными: Тая знала, что Федор еще не очерствел душою, что мучается и ищет, что склонен он к поступкам неожиданным и, главное, несмотря ни на что, верит людям безоглядно, а разобраться в них, как и в себе

самом, еще не может. Просыпаясь, она думала, где и как просыпается сейчас Федор, хорошо ли он спал, найдется ли у него еда на утро и деньги на обед. И днем беспрестанно думала о нем, пытаясь представить, где он и что с ним, а засыпая, всегда благословляла его сон и покой и чуточку, словно украдкой от самой себя, мечтала. Совсем немного мечтала, пока не заснет.

Так продолжалось до начала лета. А утром того 4 июня подполковника Ковалевского разыскал командир хоперцев сотник Гвоздин.

– Плохие новости, господин полковник.

Ковалевский пил чай на низенькой веранде. Молча поставив стакан, натянул сапоги, надел сюртук, скинутый по случаю жары.

– Так. Что за новости?

– От генерала прибыл лазутчик. Из местных армян, что ли.

– Передайте полковнику Пацевичу, хану Нахичеванскому и... коменданту цитадели капитану Штоквичу, что я прошу их прибыть ко мне незамедлительно и непременно. А лазутчика – сюда, сотник. Да казака к окнам. Не болтливого.

Сотник хлопнул плетью по запыленным сапогам и вышел за глухой глиняный дувал. Ковалевский торопливо допил чай и дождался лазутчика на веранде: хотел видеть, как идет, на что смотрит. Но вошедший во двор черноусый молодой человек был озабочен и по сторонам не глядел.

– Ты кто?

– Драгоман его превосходительства генерала Тергукасова Тер-Погосов. Определился на службе по выступлению из Баязета.

Тер-Погосов стоял свободно, отвечал точно и кратко, и это нравилось Ковалевскому.

– Ты местный?

– Я родился в Баязете, но учился в Москве.

– Где же?

– В Лазаревском институте, господин полковник.

– Простите, – смешался Ковалевский. – Извините старика: любопытен. Посланы генералом?

– Да. – Переводчик оглянулся, понизил голос: – По Ванской дороге к Баязету движется отряд Фаика-паша. Турок свыше десяти тысяч при шестнадцати орудиях.

– Господи... – растерянно выдохнул подполковник.

– Еще не все. Курды нарушили перемирие и тоже идут сюда. Генерал приказал передать вам два слова: «Жди. Вернись». Передаю точно.

– Почему же... Почему ждать-то, голубчик?

– Генерал отступает к Игдырю.

Ковалевский снял фуражку, долго вытирал взмокший череп большим носовым платком. В Баязете вместе с тылами и обозниками оставалось никак не более полутора тысяч штыков и сабель да батарея в два четырехфунтовых орудия.

4

– Змея! Змея, братцы, глядите!

– У, гадина!..

– Не быть добру...

– Точно, братцы, к беде это. К беде...

Потревоженная тяжким солдатским топотом, длинная черная змея переползала дорогу. Увидев ее, рота невольно замедлила шаг, ряды смешались.

– Да хвати ты ее прикладом! – зло крикнул Гедулянов.

Его куда более тревожило узкое кривое ущелье, по которому второй час шел рекогносцировочный отряд полковника Пацевича. Нарушившие перемирие курды – а в том, что курды взяли за оружие, у капитана сомнений не было – могли обойти отряд сверху и запереть в неудобном для боя дефиле. Он все время озирался по сторонам, но крутые склоны закрывали обзор, а солдатский топот, гулко отдававшийся в холодном, застоявшемся воздухе, глушил все шумы.

И подполковник Ковалевский, и он были против рекогносцировки большими силами, предлагая выслать казачьи разъезды для освещения местности, а основные части держать в кулаке. Но решительный в бою Ковалевский был робок с прибывшими из России офицерами, приказывать старшему по званию не решался, а спорить не умел.

– Мы разгоним этот сброд тремя залпами! – распаясь, кричал Пацевич.

Штоквич сразу устранился от обсуждения и лишь недобро усмехался. Ковалевский страдал от смущения и привычной застенчивости, не осмеливаясь расстегнуть душивший его ворот сюртука. Хан Нахичеванский лениво дремал, а Пацевич, восторгаясь собственной решимостью, наседали и наседали:

– Наша задача – обеспечить усмиренный тыл генералу Тергукасову, господа. Я имел честь сражаться с регулярными войсками, а уж с дикарями... Стыдно сомневаться, господа, стыдно не уповать на могучий дух русского солдата.

– Совершеннейшая правда, – с уловимой насмешкой сказал Штоквич, вставая. – Однако прошу позволения откланяться. Я не стратег, я числюсь по санитарной части.

– Хорошо, – страдальчески морщась, сказал Ковалевский. – Только уж коли все силы на рекогносцировку, то и мне в Баязете делать нечего. Прошу подчинить мне все части 74-го Ставропольского.

– Прекрасное решение! – воскликнул Пацевич, больше думая об ордене, за которым приехал, нежели о предстоящей рекогносцировке. – Увидите, как побегут эти вояки после первого же дружного «ура!».

Ночь выдалась холодной, спать не пришлось, готовя стрелков к походу, сто раз повторяя одно и то же: чтоб не разорвали цепь, чтоб не стреляли без команды, чтоб заходили шеренгой...

– И чтоб не бежал никто, слышите меня, ребята? Курду нельзя спину показывать, он тут же тебя шашкой достанет. Пяться, ежели жать сильно станут, но лицом к нему пяться, штыком его держи.

Зазнобило еще перед рассветом, и сейчас в сыром воздухе ущелья колотило так, что капитан стискивал зубы. А крутизна вокруг тянулась и тянулась, и Гедулянов понимал, что озноб у него не только от холода.

Навстречу из-за поворота вырвался казак. Нахлестывая нагайкой коня, бешено скакал вдоль растянувшейся пешей колонны, чудом не задевая за утесы.

– Стой! – крикнул Гедулянов. – Куда?

– К полковнику Пацевичу!

– Стой, говорю! – Капитан успел поймать за повод, резко осадил коня. – Что?

– Курды! – жарким шепотом дыхнул хоперец. – Курды на выходе. Гвоздин сотню спешил, огнем держать будет.

– Рота... бегом! – надувая жилы, закричал Гедулянов. – Бегом, ребята, за мной!

И отпустил казака, – он не нужен сейчас был, и Пацевич не нужен; сейчас одно нужно было: успеть к выходу из ущелья, пока курды не смяли Гвоздина, – побежал. За ним, тяжело топая и брэнча снаряжением, спешила усталая рота. Впереди грохнул залп: казаки открыли огонь, прикрывая развертывание пешей колонны.

Роты вырывались из ущелья в долину, зажатую подступающими со всех сторон горными склонами, и останавливались, топчась на месте и мешая друг другу. Не было ясной диспозиции, что делать в подобном случае, Пацевич почему-то оказался в хвосте колонны, а впереди,

охватом, на горных склонах гарцевали, сверкая оружием, всадники в развевающихся ярких одеждах.

– Ростом, занимай правый фланг! – надсадно кричал Гедулянов, торопливо отводя свою роту левее, руками подталкивая растерявшихся. – Терехин, держи центр! Не ложись, ребята, стой во фронте, а штык изготвь! Сомнут, коли заляжем, сомнут!..

За первыми ротами на смиренной лошадке неторопливо выехал Ковалевский. Остановился поодаль, чтоб не мешать ротам разобратся, поговорил с сотником Гвоздиным, искоса поглядывая, как, горячась, строит роту Ростом Чекаидзе, куда отвел своих Гедулянов и ладно ли в центре у Терехина.

– Спокойно, братцы, спокойно! – крикнул он. – Это дело обычное, вроде как вилами работать. К себе не подпускай, товарищу пособляй да командира слушай.

Он кричал, перекрывая шум и говор, но кричал по-домашнему, мирно, и сидел без напряжения, и даже лошадка его уютно помахивала хвостом. И эта обычность действовала лучше всяких команд: солдаты подобрались, заняли места, и весь жиденский фронт упруго ошети- нился штыками.

Из ущелья все еще вытягивались роты, пристраиваясь во вторые и третьи линии, курды по-прежнему гарцевали, не рискуя приближаться на выстрел после единственного залпа хопер- цев, и все как-то успокоилось и примолкло. Наступило равновесие боя, противники ждали дей- ствий друг друга, и никто не решался первым стронуть свою чашу весов. Ковалевский пошеп- тался с Гвоздиным, и тот начал отводить казаков из аванпостной линии к скалам, где коноводы держали лошадей в поводу.

– Бог даст, постоим да и разоидемся, – негромко сказал подполковник Гедулянову. – Главное дело – их под руку не подтолкнуть. Я Гвоздину велел назад поспешать на полном аллюре, пока выход из щели не отрезали, да сейчас не проскочишь, свои покуда мешают.

Полковник Пацевич появился с последними полуротами. Наспех оглядевшись, подскакал к Ковалевскому.

– Почему стоим? Почему не атакуем? Разогнать дикарей! Залпами, залпами!

– Господин полковник, я прошу ничего... – умоляюще начал подполковник.

– Господа офицеры! – закричал Пацевич, вырывая из ножен саблю. – Стрельба полуротно залпами...

– Господин полковник, отмените! – отчаянно выкрикнул Ковалевский.

– Приказываю молчать! За неподчинение...

Все смешалось после первого залпа. Свободно гарцевавшие по склонам курды мгновенно перестроились, словно только и ждали, когда русские начнут. В центре они тут же открыли частую беспорядочную стрельбу, лишь демонстрируя готовность к атаке, а фланговые группы с дикими криками помчались вниз на топтавшийся у горла ущелья русский отряд.

– Гедулянов!.. – странным тонким голосом выкрикнул Ковалевский.

Он приник к лошадиной шее, прижав правую руку к животу. И из-под этой правой руки текла густая черная кровь.

– Ранены? Вы ранены? – подбегая, крикнул Гедулянов.

– Не кричи, не пугай солдат... – с трудом сказал подполковник. – Отходи в ущелье. По-кавказски отходи, перекатными цепями. А меня... на бурку. В живот пули. Жжет. Отходи, Петр, солдат спасай. Не мешкая отходи...

– Ставропольцы, слушай команду! – перекрывая ружейную трескотню, конский топот и гиканье атакующих курдов, закричал Гедулянов. – Перекатными цепями! Пополуротно! Отход!

– Как смеете? Как смеете? Под суд! – надрывался Пацевич, по-прежнему зачем-то раз-махивая саблей. – Запрещаю!

– Я своими командую, – резко сказал Гедулянов. – Мои со мной пойдут, а вы, если угодно, можете оставаться.

В рекогносцировочном отряде было три роты ставропольцев, по сотне уманских и хоперских казаков и рота Крымского полка. Гвоздин уже увел хоперцев, а командир уманцев войсковой старшина Кванин сказал как отрезал:

– Казаков губить не дам.

Сам отход – бег, остановка, залп, бег, остановка, залп – Гедулянов помнил плохо. В памяти остались бессвязные куски, обрывки криков, команд, нескончаемый грохот залпов да истошные крики наседающих курдов. Пацевич окончательно растерялся, что-то орал – его не слушали. Солдаты уже поняли, как надо действовать, чтобы курды не рассекли на части живой, оцетиненный, точно еж, клубок, покотившийся к Баязету, и в командах не нуждались.

Так и выкатились из дефила. Вырвались и покатались под уклон, все убыстряя бег и уже забывая о цепях. Началось бегство, и курды вырезали бы всех, если бы не казаки, принявшие на себя их сабельный удар. Их бы тоже смяли и вырезали, да Штоквич, услышав катящуюся на город пальбу, загодя выслал резерв: роту Крымского полка. Укрывшись в балке, крымцы пропустили своих и с двадцати шагов дружно ударили залпом по лаве атакующих курдов.

Гедулянов вошел в цитадель, когда втянулись все, кто уцелел. К тому времени ворота уже были закрыты, и оставалась только узкая калитка, к которой пришлось пробираться через разбросанные тюки, тряпки, одеяла, ковры. Снаружи вход охраняли солдаты, а внутри, у самой калитки, стоял Штоквич. Солдаты таскали из внутреннего двора плиты и наглухо баррикадировали ворота изнутри.

– Все прошли?

– Мои все, – сказал Гедулянов. – Почему вещи валяются?

– С вещами не пускаю, – скрипуче сказал комендант. – Армяне из города набежали, боятся, что курды вырежут.

– Ковалевский как?

– Не знаю, я не врач. Извольте принять под свою ответственность первый двор и прилегающие участки.

– Вы полагаете...

– Я полагаю, что нам следует готовиться, капитан. На Красные Горы вышли черкесы Гази-Магомы Шамиля. Уж он-то случая не упустит, это вам не курды.

5

Утром 26 июня полусотня донцов под командованием есаула Афанасьева с гиканьем ворвалась в маленький, со всех сторон стиснутый высотами, городишко Плевну. Турки бежали без выстрела, ликующие болгары окружили казаков, в церквах ударили в чугунные била (колокола турки вешать запрещали). Выпив густой, как кровь, местной гымзы, есаул дал казачкам чуточку пошуровать по пустым турецким лавкам и еще засветло покинул гостеприимный городок.

– Было три калеки с половиной, – с нарочитой донской грубоватостью доложил он командиру Кавказской бригады полковнику Тутолмину. – Разогнал, братушки рады-радешеньки, чего зря сидеть? За сиденье крестов не дают.

В Западном отряде, куда входила Кавказская бригада Тутолмина, крестами позвякивало с особой отчетливостью. Генерал Криденер считал награды первоочередной задачей боя, о чем любил говорить с солдатами. Он остро завидовал Гурко, получившему задачу овладеть перевалами и ворваться в Забалканье, зависти этой не скрывал, а того, что задумал сам, не сообщал никому, даже личному другу генерал-лейтенанту Шильдер-Шульднеру, командиру 5-й пехотной дивизии.

Мысль, что его, Николая Павловича Криденера, барона, обошел – не перед историей, так перед государем – какой-то белорус Гурко, была мучительна своей необъяснимостью. Николай Павлович был старше почти на два десятка лет, считал себя образованнее и – что являлось решающим в данном случае – обладал боевым опытом и имел Золотую саблю. Правда, злые языки утверждали, что надпись на этой сабле следует читать «За усмирение», ибо получена она была при подавлении польского восстания, где от Криденера требовалась не столько храбрость, сколько беспощадность. Но что бы там ни говорили, а Гурко и этим похвастаться не мог, и из всех его заслуг Криденер выделял лишь лихую джигитовку на бешеном карьере в присутствии государя.

– Кентавр, – говаривал он, усмехаясь в усы. – А Второй – халатник.

Под «Вторым», произносимым так, что чувствовалась заглавная буква, Криденер разумел Скобелева-младшего. Николай Павлович сызмальства не верил ни в талант, ни в призвание, ни в озарение, уповая лишь на личный опыт и, следовательно, на возраст, поскольку арифметика была простой: чем дольше живешь, тем больше видишь. А в арифметику он верил свято, и для него дважды два всегда, во всех случаях жизни, равнялось четырем.

Задача, полученная им, – «сдерживать противника, только сдерживать!» – казалась ему до обидного незначительной. Он долго изучал карту, дотошно вымерял расстояния, прикидывал возможности и весьма скоро уверовал в то, что в штабе главнокомандующего на эту карту должным образом не смотрели. Его Западный отряд находился ближе к сердцу Болгарии – к Софии, – а посему именно он, барон Криденер, и должен был стать основной фигурой в этой войне. Пусть себе «Кентавр» рвется к перевалам (все равно турки не дадут ему проникнуть в Забалканье), пусть отвлекает на себя противника, пусть путает карты – все это на руку его Западному отряду. В точно рассчитанное время он с цифрами в руках доложит великому князю главнокомандующему (Непокойчицкого здесь надо обойти), с цифрами в руках убедит его в своей правоте и неожиданно для неприятеля ринется через горные проходы к Софии.

Идея была ясна, но мешал Никополь, повисший на левом фланге, – Виддин Криденер в расчет не брал, полагая, что турки не рискнут снять войска с румынской границы при явных русофильских настроениях румынского народа. А Никополь с его восьмидесячным гарнизоном и более чем сотней орудий был угрозой реальной, избавиться от которой следовало немедленно, дабы развязать себе руки для предстоящего победоносного марша.

– Штурмовать эту развалюху? – с недоумением спросил начальник штаба IX корпуса генерал-майор Шнитников. – Турки сами готовы ее бросить, Николай Павлович, не сыграем ли мы им на руку?

Криденер не терпел возражений, коли решение им было уже принято. Зная его упрямство, Шнитников спорить не стал, тем паче что и командир 5-й дивизии Шильдер-Шульднер горячо высказался за немедленный штурм. Взятие первой турецкой крепости обещало ордена, славу и одобрение свыше, почему никто и не спорил, хотя в целесообразности этой операции сомневались многие. Лишь прикомандированный к Западному отряду генерал-майор свиты его величества граф Толстой открыто и нервно сопротивлялся:

– Осмелюсь напомнить, Николай Павлович, что вы получили приказ сдерживать противника. Сдерживать, не давая ему возможности прорваться к нашим переправам на Дунае.

– Наступление – лучший способ держать неприятеля в напряжении, граф. Не учите пирожника печь пироги.

– Однако, Николай Павлович, не следует при этом забывать о всей массе неприятельских войск. В Виддине сосредоточены крупные турецкие силы. Даже если мы и возьмем Никополь, угроза не уменьшится.

– Вы прибыли за орденом, граф? После падения Никополя я вам предоставлю такую возможность. Но в самом деле вы не будете принимать никакого участия, ибо генерал, не верящий в целесообразность операции, во сто крат опаснее врага.

Сам Никополь штурмовать не пришлось: он капитулировал после артиллерийской бомбардировки. Но при прорыве полевых укреплений турок Криденер потерял свыше тысячи солдат и офицеров. Шесть знамен, пушки и семь тысяч пленных во главе с двумя генералами были наградой за понесенные жертвы.

Отстраненный от всякой деятельности, Толстой в сражениях участия не принимал, глубоко переживая это как личное оскорбление. Пока Криденер торжествовал победу, писал реляции и приводил в порядок войска, граф одному ему ведомыми путями узнал то, чего внутренне так опасался.

– Турки начали перебрасывать войска из Виддина в наш тыл, Николай Павлович. Я настоятельно прошу незамедлительно отдать приказ Кавказской бригаде занять Плевну. Пока не поздно. Пока еще не поздно, Николай Павлович.

Отправить Кавказскую бригаду Тутолмина в Плевну означало для Криденера ослабить собственный отряд. Пойти на это добровольно он не мог: ему все еще мерещился победоносный марш на Софию.

– Я обещал вам, граф, предоставить возможность отличиться. Так вот, будьте добры сопроводить в Главную квартиру коменданта Никополя Гассана-пашу. Думаю, что его величество по достоинству оценит вашу исполнительность.

– Николай Павлович, я понимаю, что неприятен для вас, и тем не менее я настоятельно прошу...

– Коляска и конвой ждут.

– Ваше превосходительство, я умоляю...

– Вас ждут коляска, конвой и пленный паша. Поторопитесь, граф, я вас более не задерживаю в Западном отряде.

Выведенный из равновесия упрямством Криденера, Толстой загнал коней, измучил конвой, довел себя до нервного приступа по пути к болгарской деревушке Павел, где располагалась Главная квартира. Конвойные казаки угрюмо ругали сумасшедшего графа, сам Толстой, покрытый пылью и грязью, еле держался на ногах и почти не мог говорить, и только пленный комендант Никополя весело скалил зубы в черную бороду. Эта улыбка неприятно поразила императора; он тут же велел увести пленного и стал расспрашивать Толстого о подробностях взятия Никополя.

– Ваше величество, это авантюра, – хрипло, с трудом сказал Толстой. – Из Виддина в наш тыл перебрасываются свежие таборы. Я знаю об этом достоверно, мне сообщили высокие румынские офицеры.

– Ты, видимо, устал, – с неудовольствием сказал Александр. – Это блестящая победа нашего оружия. Турецкий главнокомандующий и его начальник штаба смещены с постов и отданы под суд. Такова паника, которую вызвал Криденер в Константинополе.

– Ваше величество, велите немедленно занять Плевну, – еле шевеля языком не только от усталости, но и от нервного потрясения, сказал Толстой. – Нельзя терять ни часа, ваше величество.

– Благодарю тебя за труды, граф, они будут отмечены. Ступай, отдохни и... и выезжай в Россию. Здесь ты мне более не понадобишься.

Граф Толстой отбыл в Россию, а барон Криденер получил орден Святого Георгия III степени. Однако вместе с поздравлениями от Артура Адамовича Непокойчицкого пришло и телеграфное предписание озаботиться городишком Плевной, в котором, по слухам, находятся четыре табора низама, два эскадрона сувари и черкесы при неизвестном, но вряд ли значительном количестве артиллерии. Это еще не звучало приказом, но Криденер умел читать между строк и скрепя сердце выслал к досадной плевненской занозе отряд генерал-лейтенанта Шильдер-Шульднера числом в семь тысяч штыков и чуть более полутора тысяч сабель при сорока шести орудиях.

Отряд шел как на усмирение, не утруждая себя ни разведкой, ни дозорами. Справа от основной группы – Архангелогородского и Вологодского полков – двигались костромичи, усиленные двумя сотнями кубанцев, еще правее – 9-й Донской казачий полк, а левый фланг прикрывала Кавказская бригада Тутолмина. Колонна растянулась, обозы и летучие парки отстали, и все – от старших командиров до каптенармусов – мечтали как можно скорее достичь Плевны, вышибить дух из турок, отдохнуть и вернуться к Никополю, дабы не опоздать к моменту славного броска к сердцу Болгарии.

– Плевна какая-то, эка невидаль! Мы Никополь взяли, а уж Плевну-то эту...

– Только зря время теряем, господа. Послать бы сюда казачков.

– А за «плевок» этот Георгиев не жди. Это уж точно, братцы.

Уже на подходе к Плевне, о гарнизоне которой командир отряда имел весьма смутное представление, в деревеньке Буковлек навстречу русским вышел пожилой болгарин. Стал на дороге, крестом раскинув руки:

– Турки в Плевне, братушки! Много пашей, много таборов, много пушек!

– Вот мы и пришли их бить, – сказал командир архангелогородцев полковник Розенбом. – Скажи братушкам, пусть завтра в Плевну побольше мяса везут: победу праздновать будем.

Мяса в Плевне хватило: в половине седьмого утра Иоганн Эрикович Розенбом, во главе своих архангелогородцев ворвавшийся-таки в Плевну, был убит наповал у первых домов. Но это случилось на шестнадцать часов позднее, а тогда и турок-то никаких еще не было видно, и не прогремело еще ни одного выстрела, а усталость уже покачивала солдат. И потому на предостережение никто не обратил внимания, передовые части миновали деревушку, а когда стали спускаться в низину Буковлекского ручья, с Опанецких высот полыхнул первый залп.

– Наконец-то! – радостно крикнул командир артиллеристов генерал Пахитонов. – Разворачивайся с марша, ребята, и – пли. Пли!

Стрелки рассыпались в цепь, открыв частую стрельбу. Под их прикрытием Пахитонов развернул батареи, пехотинцы перестроились с маршевых в боевые колонны, русские пушки тут же начали ответный огонь. И тут же растерянно замолчали: их снаряды рвались на скатах, не достигая турецких позиций, а турки по-прежнему били по колоннам.

– У них стальные крупновские орудия, – с завистью сказал командир батареи, первой открывшей огонь. – Как прикажете далее, ваше превосходительство?

– Далее замолчать, – угрюмо распорядился Пахитонов. – Берите на передки и скачите на дистанцию действительного огня.

Однако бой уже утратил развитие. Противник не атаковал, ограничиваясь артиллерийским огнем, сообщений от костромичей и кавказцев не поступало, полки были утомлены переходом, и Шильдер-Шульднер счел за благо заночевать. Огней не разводили; спали, где легли, укутавшись в шинели и обняв ружья. И сразу же прекратилась канонада.

Костромской полк тоже обстреляли на марше, но осторожный его командир полковник Клейнгауз в бой вступать не стал, а выслал вперед кубанцев. Привычные к таким делам, казаки теньями скользнули по балочкам, обошли врага и через полтора часа доложили Клейнгаузу, что за Гривицкими высотами расположен большой турецкий лагерь, который противник спешно укрепляет земляными работами.

Оценив сообщение, полковник прикрылся цепью разъездов и секретов, приказал костромичам отдыхать без костров и куренья, отправил донесения по команде и стал терпеливо ждать рассвета, завернувшись в шинель, подобно своим солдатам.

Однако вздремнуть ему не пришлось: прискакал командир 9-го Донского полка полковник Нагибин. Принимать гостя было нечем, да и не ко времени; выпили коньяку, а затем Нагибин взял Клейнгауза под руку и повел в сторону от солдатского храпа и офицерского говора. Сказал приглушенно еще на ходу:

– Игнатий Михайлович, прощения прошу, что от дремоты оторвал. Мои казаки собственной охотой поиск произвели. По их словам, за Видом противника – колонн восемь, если не больше. С артиллерией, котлами и бунчуками.

– Моих, Нагибин, добавьте, что кубанцы за Гривицкими высотами обнаружили. Да еще тех, которые Шильдера обстреляли.

– Вот-вот, Игнатий Михайлович. Мы-то считали, что в Плевне от силы четыре табора, которые Атуф-паша из-под Никополя увел. А тут получается...

– Получается, что нужно уходить, – не дослушав, сказал Клейнгауз. – Уходить немедленно и без всякого боя.

– За тем и прискакал, Игнатий Михайлович. Надо бы Шильдеру разъяснение – это на себя приму. А вы Криденера уведомите, что Плевна уже не «плевок», как он говаривал, а – орешек.

– Главное беспокойство – разбросаны мы очень, веером дамским наступать вздумали, – вздыхал Клейнгауз. – Нет, нет, вы правы, вы совершенно правы.

Ни отправить докладных записок, ни даже написать их полковники не успели. Уже в темноте от Шильдер-Шульднера прибыл нарочный с приказом атаковать Плевну концентрическими ударами с севера – Архангелогородскому и Вологодскому полкам; с востока – Костромскому полку; с юга – Кавказской бригаде Тутолмина. 9-му Донскому полку предписывалось прикрывать правый фланг, а общее выступление назначалось на четыре утра. Срок заведомо недостижимый, ибо для того чтобы костромичам, донцам и кавказцам выйти на исходные рубежи, требовалось проделать путь, втрое, а то и вчетверо превышавший марши главных сил.

Но это был приказ, и все сомнения исключались. Нагибин, нахлестывая коня, помчался к себе, а Клейнгауз, сыграв тревогу, приказал оставить на месте ночевки ранцы, шинели и обоз и бегом поспешать туда, где полагалось быть полку к началу всеобщего «концентрического» наступления.

Время рассчитали из рук вон плохо, если расчетом времени вообще кто-либо занимался. Толковых штабных офицеров в армии хватало, но генералов, привыкших полагаться на собственные представления о вчерашних войнах, в России всегда было больше. Даже вологодцы с архангелогородцами изготовились для боя не к четверем, а на час позже, рокот барабанов, играющих атаку, раздался лишь в половине шестого. Офицеры вырвали сабли из ножен, солдаты привычно сбросили на левые руки полированные ложа винтовок, и полки без выстрела пошли в атаку на занятые турками высоты, со всех сторон окружавшие Плевну. Шли молча, смыкая шеренги над убитыми и ранеными, копя силу и ярость. И взорвались вдруг хриплым, одинаково страшным как для просвещенной Европы, так и для дикой Азии знаменитым русским «ура!».

Ни турецкие стрелки, ни стальные орудия Круппа, осыпавшие атакующих гранатами на всех дистанциях атаки, не смогли сдержать натиска русских полков. Солдаты неудержимо рвались к высотам, и турки, вяло посопротивлявшись, отошли за линии последних ложементов. Архангелогородцы взлетели на гребень и скрылись за ним, и бой стал удаляться, откатываясь к окраинам Плевны. На одном неистовом реве сотен пересохших глоток поредевшие батальоны скатились к первым домам. Победа была в руках: каждый солдат чувствовал уже ее ртутную тяжесть; казалось, еще совсем немного, еще один удар, пять шагов, две штыковые и... И свежие батальоны турок с двух сторон неожиданно бросились в штыки. Был убит командир полка полковник Розенбом, турецкая картечь кусками рвала русские ряды, и не шла подмога, и ждать ее было бессмысленно: все резервы уже втянулись в бой. Поручик Погорельский во главе роты короткими атаками сдерживал турок, пока архангелогородцы, подобрав раненых, не откатились за высоты. А остатки роты Погорельского и сам поручик из боя вырваться уже не смогли и легли все как один, повинувшись законам Отечества.

Пока архангелогородцы медленно пятились от Плевны, Вологодский полк после многочисленных бесплодных атак все же сбил противника с высот, отбросил к городу и вот-вот дол-

жен был на его плечах ворваться следом. Но был ранен командир бригады генерал Кнорринг, от бившихся у Опанца спешенных казаков пришло донесение, что турки обходят правый фланг, и принявший начальствование над бригадой генерал Пахитонов приказал отходить. Усилиями донцов, вологодцев и последней резервной батареи неприятеля отбросили на прежние позиции, отряд Шильдера был спасен от полного разгрома, но сил больше не было.

Поднятые раньше всех по тревоге костромичи налегке совершили марш и вступили в бой ненамного позднее основного ядра. Им предстояло пройти длинным, пологим, открытым со всех сторон скатом к Гривицким высотам, и они прошли, усеяв поле белыми рубахами павших. Здесь перед костромичами открылись три линии турецких окопов, ошетиненных огнем и штыками; перестраиваться не было времени, и полк бросился в атаку с ходу. Две линии окопов костромичи взломали единым порывом, когда смертельно раненным пал командир полка. Майоры Цеханович и Гринцевич были уже убиты, батальоны расстроены штурмом, и спереди била в упор третья линия турецкой обороны. А полк затоптался, теряя порыв и ярость.

– Знамя, – еле слышно сказал Клейнгауз, – знамя – вперед...

Он умирал на руках подпоручика Шатилова, и подпоручик понял его последний приказ. На мгновение прижался лбом к залитой кровью груди командира, осторожно опустил тело на землю и вскочил. Крутом все гремело, выло и стонало, и никто уже не слушал команд. Шатилов в дыму и толчее разглядел знаменосца, бросился к нему и вырвал знамя.

– Ребята! – Он понимал, что кричит последний раз в жизни, и уже ничего не жалел и не щадил. – Ребята, коли меня оставите, то и знамя погибнет! Не выдайте, братцы!

И побежал вперед, к турецким окопам, неся знамя наперевес, как ружье. И упал, не добыв, с разбега уткнувшись простреленным лицом в тяжелый шелк. Остатки полка бросились к упавшему знамени столь дружно и неистово, что турки, не принимая боя, спешно бросили окопы и откатились к Плевне.

В то время как архангелогородцы гибли у первых плевненских домов, 9-й Донской полк в пешем строю отбивал атаки турок на правом фланге, а костромичи истекали кровью на Гривицких высотах, Кавказская бригада Тутолмина – основная ударная сила и подвижной резерв Шильдер-Шульднера – бестолково металась по заросшим кустарником низинам в районе Радисева. В полосе ее наступления оказался глубокий Тученицкий овраг, о существовании которого почему-то никто не подозревал, пока полковник Тутолмин не уперся в него. Вокруг уже гремел бой, турки поодиночке били разрозненные полки, а кавказцы все еще лихорадочно искали возможность буквально исполнить явно невыполнимый приказ Шульдера. И только когда с Гривицкого гребня стал пятиться Костромской полк, Тутолмин наконец прекратил бесплодные поиски путей к Плевне и во весь дух помчался к Гривице.

Костромичи отступали без выстрелов: патроны кончились, а запасы их оставались на месте ночлега вкупе с шинелями, ранцами и обозом. Тройная турецкая цепь, усиленная с флангов конными группами башибузуков, всей мощью давила на измотанных солдат. Они то и дело бросались в штыковые контратаки, стремясь сдержать противника, но сил уже не было. Кубанцы войскового старшины Кирканова кинулись в отчаянную рубку, стремясь «занавесить» полк от турок, дать ему время прийти в себя и собраться. Казаки гибли в неравной схватке, но полк сохранил единство, не дрогнул, не побежал, не отдал знамен и отступил в порядке под прикрытие артиллерии. Остатки кубанцев группами и поодиночке выходили из боя, когда подсказали передовые разъезды Кавказской бригады. Тутолмин опоздал в дело, но бросил всех своих кавалеристов на спасение раненых. Кавказцы под пулями и гранатами рыскали по полю, подбирая тех, кто еще был жив.

Сражение, вошедшее в историю под названием Первой Плевны, было проиграно изначально, еще до сигнала атаки, еще в голове командира. В результате наступления «дамским веером» Архангелогородский полк потерял убитыми и ранеными тридцать три офицера и девятьсот семьдесят восемь солдат; Вологодский – семнадцать офицеров и четыреста два-

дцать девять нижних чинов; костромичи недосчитались двадцати трех офицеров и восьмисот пятидесяти двух солдат. И «Вечная память» надолго приглушила звонкую медь полковых оркестров.

Торжествовали в Плевне, с восточной пышностью поздравляя командующего Османа Нури-пашу. Но Осман-паша не спешил улыбаться:

– Если среди убитых в белых рубахах вы найдете хоть одного, сраженного в спину, я возрадуюсь вместе с вами. Укрепляйте высоты. День и ночь укрепляйте высоты. Русских может сдержать только земля...

Глава вторая

1

Федор лежал лицом к обшарпанной, в жирных пятнах от тел и затылков, стене дешевого – дешевле стоила только ночлежка – номера и считал тараканов. Рыжие прусаки шустро метались среди рваных обоев без видимой цели и направления; черные усачи степенно следовали по прямой, брезгливо обходя круглые клопные задки, торчащие из всех щелей. И суетливые рыжие и солидные черные вынюхивали добычу, рвались к ней, и только сытые клопы никуда не спешили. Их временем была ночь, а поживой – теплая кровь, которой хватало с избытком, а потому и торопиться было несолидно.

Федор глядел в клочья обоев, а видел небывало переполненный Кишинев. Видел изворотливых мелких дельцов, маклеров и агентов, развивающих бурную деятельность в надежде выбить, выпросить, выторговать, вымолить, выцыганить пятиалтынный на каждый вложенный гривенник; видел неторопливых, знающих цену себе и всему на свете тыловииков-интендантов, через липкие руки которых шли сотни тысяч пудов хлеба и мяса, овса и сена, шли шинели и портяночное полотно, сапоги и седла, палатки и медикаменты – шел дикий навар войны; видел молчаливых, почти незаметных в серых своих сюртучках заправил-поставщиков, слово которых могло озолотить, а могло и уничтожить и мелкого барышника, и крупного воротилу, а доходы измерялись гарантированными государством миллионами. Он насмотрелся и на тех, и на других, и на третьих, он ощутил их физически, как ощущают падаль, он во многом разобрался и только никак не мог понять, что же делать ему, Федору Олексину. Далее на запад, за границы империи, в Бухарест, а тем паче за Дунай без специального разрешения военных властей не пускали. Скобелева в Кишиневе уже не было, а где он находился, никто толком сказать не мог. Цены, взвинченные легкой деньгой воровства и махинаций, росли изо дня в день, и в конце концов Федор, сменив дюжину гостиниц, докатился до номера на трех горемык, ниже которого падать было уже немислимо. Ниже ждала нищета.

Конечно, можно было, махнув рукой на мечты, записаться вольноопределяющимся и в качестве такового шагать на запад, а далее и на юг, за Дунай, в Болгарию, спрятав под солдатской рубахой письмо полковника Бордель фон Борделиуса к бывшему однополчанину, а ныне генерал-майору свиты его императорского величества Михаилу Дмитриевичу Скобелеву. Можно было, поступив так, как поступали тысячи молодых людей, уповать на то, что великие случайности войны сведут когда-либо вольноопределяющегося нижнего чина с генералом свиты, письмо заместителя командира 74-го пехотного Ставропольского полка попадет адресату, а сам нижний чин мановением генеральской руки будет извлечен из ротных рядов и «оставлен при...», а вот в качестве кого «оставлен при...», Федор никак не мог придумать. Он размышлял на эту тему с ленцой, словно бы по обязанности, валяясь на блошином матрасе и глядя в клопину стену, а потому не только не видел выхода, но и не искал его. Незнакомая, но отнюдь не пугающая апатия уже целиком завладела его духом и телом, и он не хотел ей противиться, хотя понимал, в какую пропасть ведет его безволие, растущее в душе, будто поганый гриб. Ему было все равно, решительно все равно, абсолютно ВСЕ РАВНО, что будет завтра с ним, Федором Олексиним, с его родными и близкими, с Россией и со всем миром. Он выпал из всего сущего, вывел себя за скобки и лениво ничего не ждал.

А деньги – и те, о которых он знал, и те, которые незаметно подсунула ему Тая, – давно уже превратились в считанные двугривенные, каждый из которых означал либо какую-то еду, либо возможность еще сутки валяться на голом матрасе в трехкочном номере, и Федор

последнее время ел через день, всячески оттягивая срок, когда придется что-то решать: либо подаваться в «вольноперы», заведомо отказавшись от всяких надежд пройти огненную купель под стягом самого отважного и безрассудного из русских полководцев, либо падать еще ниже в нищету, грязь и небытие.

– Ай, повезло, ай, счастье-то какое, господа! Ай, Господи, благодарю тебя и кланяюсь низко! – радовался тихий, облезлый, маленький человечек без определенного возраста, занятий и положения, Евстафий Селиверстович Зализо. – Шестнадцать рубликов семейству отправил и долги расплатил сполна. Шестнадцать целковеньких супружнице и деткам!

Евстафий Селиверстович посредничал в мелких сделках, вел случайную переписку, а вечерами играл по маленькой с купцами, подрядчиками и маклерами третьей руки, мухлевал и передергивал, но темных дел боялся. Заработок был невелик и неустойчив, и Зализо куда чаще возвращался с синяками, чем с целковыми. Кряхтел, стонал, иногда плакал, но не унывал и, наскоро сведя синяки огромными, екатерининской чеканки, медяками, снова неустрашимо шел по трактирам.

– Раз побьют и два побьют, а там, глядишь, и Господь смилуется, пожалеет меня да тузика подкинет, – приговаривал он, собираясь на вечерний промысел.

– Бога-то хоть в шулера не зачисляйте, – сердился желчный отставной капитан Гордеев, второй сожитель Федора.

– То присказка такая, присказка, – поспешно оправдывался Евстафий Селиверстович. – К слову как бы сказать, глубокоуважаемый господин Гордеев.

– По мне уж коли играть, так не мелочиться, – непримиримо ворчал отставной капитан. – Поставьте тысяч на десять, смухлойте – и домой. А вы десятку наскребете и радуетесь. Глупо и мелко.

– Помилуйте, Платон Тихонович, за десяточку мне по роже съездят, а за тысячу... Да что там – тысяча! За сто рублей жизни решат. А у меня – супружница, детки, семейство.

– Рыба вы, а не игрок.

– Рыба, – покорно соглашался тихий Евстафий Селиверстович. – Я, господа, бывший идеалист. С юности, от младых, как бы сказать, ногтей в благородство верил, как во спасение. Стихи декламировал, в живых картинах участвовал, рыцарей изображая. Знаете, когда воровство кругом да гадство, как приятно в живых картинах рыцарей изображать. Дамы платочками машут, начальство улыбается, и всем очень покойно. Очень. Это ведь приятнее даже для русского человека, чем о свободе рассуждать. Вот я им всем и приятствовал, а сам верил. Верил, господа, истово верил, вот что умилительно.

– И во что же верили?

– А во все, во что Отечество верить наказывает. В законы, в честность, в мужей государственных, даже... – Зализо понизил голос, – даже в справедливость, господа, хоть побейте, верил. Верил! А тут как раз из самого Санкт-Петербурга сановник пожаловал. Добрый такой господин, сединами убеленный. Стал чиновников по одному к себе на беседу вызывать, и до меня очередь дошла. А я уже специально изготовился к рандеву этому, цифры подобрал, слушай разные и все на бумаге изложил.

– Опять глупость, – угрюмился Гордеев. – На что рассчитывали? Чин, поди, мерещился? Вызов в Сенат?

– Нет, что вы, господа, нет и нет! – пугался Евстафий Селиверстович. – Ни на что я не рассчитывал, господь с вами, Платон Тихонович. Я Отечеству помочь стремился, я о нем помышлял, я указать хотел, куда денежка казенная утекает, в какую прорву ненасытную. Вот о чем я думал, поскольку в честности воспитан был. И в записочке той ни грана клеветы не содержалось, а дело все так перевернулось, этаким, как бы сказать, фарсом трагическим, что вылетел я со службы, как только лошадки особу за город вынесли. Изгнан был с позором и

срамом, аки клеветник и доносчик. Вот куда меня искренность моя привела, на край, как бы сказать, пропасти падения человеческого.

– А закон? – не выдержав причитаний, раздраженно спросил Федор. – Есть же закон, господин Зализо. Есть же управа на губернских самодуров.

– Закон? – бывший чиновник тихо рассмеялся. – Какой закон, господин Олексин? Это в Английском королевстве закон, а у нас – поправки к оному. Пятнадцать томов поправок, указов да разъяснений: не изволили сталкиваться? Ну, храни вас Господь от этого. Россия – страна поправочная, а не законная. Поправочная, глубокоуважаемый господин Олексин.

Евстафий Селиверстович Зализо был не только бывшим чиновником, но и бывшим человеком и потому не вызывал в Федоре ничего, кроме редких пароксизмов раздражения. Но второй – угрюмый, внутренне напряженный, как туго взведенная пружина, отставной капитан Гордеев – был интересен уже тем, что ничего о себе не рассказывал. Писал бесконечные прошения, получал отказы, снова писал и снова получал, но не жаловался и вообще чаще помалкивал. Раз только, получив откуда-то пространное, но тоже явно отрицательного свойства письмо, насильственно усмехнулся:

– Почему тем, кто пишет правду, не верят с особым злорадством, Олексин?

У Федора случился очередной приступ меланхолии, и отвечать Гордееву он не стал. Впрочем, отставной капитан и не ждал ответа, а тут же достал походную чернильницу, пачку голубоватой немецкой бумаги и начал старательно скрипеть новым стальным пером, сочиняя очередное послание.

Разговор между ними произошел в тот день, когда вдруг разоткровенничался Зализо, выигравший накануне четвертной, расплатился со всеми долгами да еще умудрился кое-что переслать многочисленной семье. Выговорившись, Евстафий Селиверстович тотчас же ушел, поспешая ко времени, когда мелкой тыловой сошке уж очень захочется попытать счастья за зеленым сукном. Отставной капитан проводил его прищуренным глазом, помолчал и сказал весомо и уверенно:

– Врет.

– Отчего же полагаете так? – вскинулся Федор, которого чем-то тронул рассказ бывшего искателя истины. – Он говорил искренне, и сомневаться, право же...

– А я и не сомневаюсь, – грубовато перебил Гордеев. – Я без сомнения знаю, что мошенник он и лгун. Заметьте себе, Олексин, что не все мошенничают, но все лгут. Все нормальные люди непременно же лгут, а коли правду режут, так либо с ума сошли, либо в начальники выбились.

– Вы – мизантроп, Гордеев.

Отставной капитан невесело усмехнулся в густые, с обильной проседью усы. Походил по номеру, с хрустом давя тараканов, сказал вдруг:

– Хотите сказочку послушать? Очень полезная сказочка для юношей, кои героев ищут не в Древнем Риме.

– Тоже лгать станете? – ядовито осведомился Федор.

– Непременно, – кивнул Гордеев. – На то и сказка, Олексин, чтоб лгать свободно, так уж давайте без претензий. Стало быть, в некотором царстве, в некотором государстве на глухой и непокорной окраине служили два немолодых офицера при молодом полковнике. Полковник тот был хоть и весьма молод, но уже и знаменит, и отмечен, и геройствами прославлен аж до града престольного, а посему имел отдельный отряд, веру в собственную звезду и жажду славы. Вы слушаете, Олексин, или опять считаете тараканов?

– Слушаю, – отозвался Федор. – Полковник имел синие глаза и ржанные усы, и звали его...

– А вот этого не надо, – остановил Гордеев. – Сказка имен не любит. Так что либо сказку слушайте, либо я гулять пошел.

– Давайте сказку, – лениво зевнул Федор. – О Бове Королевиче.

– Бова Королевич? – отставной капитан неожиданно улыбнулся. – А пусть себе, к нему это подходит. Но сначала об офицерах, коих наречем... Фомой да Еремой. Так вот Фома – из захудалых дворяшек – из кожи вон лез, чтобы только Бове Королевичу угодить. Не из низости характера, Олексин, – мягкий, воспитанный да слабый был господин сей, уж мне поверьте, – а угодничал по той простой причине, по которой наш брат русак скорее всего угодничать начинает: по причине долгов, родственников да несчастий. Вот все это досталось Фоме в избытке – и долги, и родственников орда целая, и несчастий по двадцать два на неделе, а доходов – одно жалованье. Скольким пожалуют, стольким и жив: вам, Олексин, понятна страшная механика сия?

– А Ерема? – настороженно спросил Федор.

– А Ерема из разночинцев, Олексин, ему проще, потому как привычнее и психею его не ломает. Дед у него – вольноотпущенник, отец на ниве народного просвещения подвизался, а самого Ерему в Николаевскую академию занесло. Впрочем, к сказке все это отношения не имеет, а суть в том, что Бова Королевич вздумал на свой страх и риск малым своим отрядом взять довольно сильную крепость. И только к походу изготовился, как ловят казачки немирного турк... туземца, Олексин, туземца. Туземец попался бравый, в лицо Бове Королевичу смеется и на своем туземном языке утверждает, что движется на Бову большой туземный отряд. Врет? Ну так и слава богу, и пусть себе врет, а мы будем крепость штурмовать. А вдруг не врет? Вдруг правду бормочет, басурманская рожа? А коли правду, то о крепости тотчас и позабыть надо и силы совсем даже в другую сторону разворачивать. Понятна вам задача, Олексин?

– Понятна, – без особого интереса откликнулся Федор, хотя все, что касалось Бовы Королевича, слушал внимательно.

– И как бы вы решили ее?

– Не знаю, я не военный. А как он ее решил? Ну, ваш Бова Королевич?

– Просто, как Колумб – задачку с яйцом. Вызвал Фому да Ерему и приказал бить того туземца смертным боем, пока правды не скажет.

– И вы?.. – с презрением спросил Федор.

– И мы?.. – отставной капитан натянуто улыбнулся. – Это же сказка, Олексин, просто – сказка. И по сказке той получается, что разночинный Ерема тут же больным себя объявил, а несчастный Фома, поплакав да помолясь, взял цепь, на которой бадью колодезную крепят, и начал цепью этой...

– Не надо... – брезгливо отвернулся Олексин.

– Это же сказка, так что потерпите, – усмехнулся Гордеев. – Суть ведь не в том, как Фома бил да как туземец кричал. Суть в том, что правду он все же из него выбил: не было никакого отряда, никто ниоткуда не угрожал, и Бова Королевич мог преспокойно штурмовать крепость всеми наличными силами.

– А если и здесь ложь? Если солгал туземец тот?

– Это перед смертью-то? – холодно улыбнулся Гордеев. – Перед смертью правоверному нельзя врать, а то Магомета не увидит и гурии его не усладят.

– Значит...

– Значит, Олексин, значит. До самой смерти в присутствии муллы кованой цепью бил. Плакал, о прощении умолял и бил, вот какая очень русская история, юный друг мой. А когда забил...

– Перестаньте бравировать!

– Когда забил, с облегчением великим к Бове Королевичу побежал. С облегчением и бумагой, в которой арабской вязью все изложено было и подписью присутствовавшего священнослужителя скреплено. Бова бумагу взял, а Фому не принял, будто и не было его вовсе, Фомы этого несчастного, будто бумага по воздуху приплыла. А Фома не понял ничего или понять испугался и все сидел возле палатки. Вышел наконец Бова, глянул на Фому как на пустое место

и пошел себе. В нужник. И все офицеры сквозь этого Фому глядеть стали: даже ближайший сослуживец Ерема и тот руки не подал, – Гордеев вздохнул. – Вечером ни к одному костру его не пригласили, никто на слова его не отвечал, будто и не слышал его вовсе, и к утру Фома пулю себе меж глаз запустил. А у него – детей шесть душ, родственных бездельников куча да жена больная да бестолковая.

– Послушайте, Гордеев, это же... Это же ужасно, что вы рассказываете.

– Это же сказка, Олексин, извольте уж до конца дослушать. Так вот взял лихой Бова Королевич крепость и наутро списки отличившихся потребовал. А списки Ерема составлял и включил туда покойного Фому: при боевом ордене и с пенсией, глядишь, что-либо выгореть могло. «Что? – спросил Бова Королевич. – Самоубийце – „Владимира с мечами“? Да за такую награду у меня завтра полотряда перестреляется». И вычеркнул покойного Фому из списков собственным золотым карандашиком. Через месяц Бова Королевич генеральский чин получил, а Ерема – полную отставку без пенсионера и мундира, как человек ненадежный и к службе в Российской империи непригодный.

– Да за что же, помилуйте? Причина ведь должна же быть. Хоть какая-то, хоть видимая.

– За что? – Гордеев вздохнул. – В России, Олексин, все прощают – и длинные руки, и длинные уши. Только длинного языка не прощают, запомните на всякий случай.

Разговор этот оставил в душе Федора гнетущее впечатление не потому, что Гордеев поведал о мерзостях, дотоле Олексину неизвестных, а потому, что Федор, как ни старался, никак не мог припомнить, когда же это он упоминал о кумире своем. А коли не упоминал, то зачем Гордеев обрушил на него ушат холодной воды? Какую цель преследовал, повергая идолов, что хотел доказать, что утвердить? Ответов Олексин не находил и мучился неясными подозрениями. И эти пустые подозрения постепенно, изо дня в день затушевывали и вытесняли из души его картины уродливой подноготной войны, что походя высветил угрюмый бывший офицер Платон Тихонович Гордеев. И вскоре как-то незаметно для себя Федор начал сомневаться в сказочке отставного капитана, а потом и вовсе уверовал, что сказочку сию Гордеев сочинил для собственного обеления, а сам либо трус, либо подлец, либо растратчик. И снова отвернулся, снова замолчал, и Платон Тихонович не беспокоил его более ни вопросами, ни рассказами, грустно усмехаясь в густые усы. И опять писал прошения Гордеев, залечивал синяки Евстафий Селиверстович да считал тараканов Федор Олексин, ночами ощущавший вдруг прилив невероятной решимости непременно с зарею бежать записываться вольноопределяющимся, а поутру вновь переживая очередной и уже такой привычный отлив всех нравственных сил. И гнить бы ему в той кишиневской дыре, если бы у бывшего чиновника Евстафия Селиверстовича Зализо не оказался редкостный, витиеватый, столь любимый купеческими нуворисами почерк. С этим скромным даром Евстафий Селиверстович днем ходил по трактирам, изредка подрабатывая сочинением любовных, частных и семейных писем, а вечерами играл, трусливо мечтая хотя бы удвоить содержимое всех своих карманов, но куда чаще проигрываясь до последней копейки.

– Федор Иванович! Федор Иванович, пожалуйста вниз, в коляску.

Зализо вбежал в номер в час неурочный и в состоянии весьма взволнованном. Отставной капитан бродил где-то по присутствиям, а Олексин привычно валялся на голом матрасе, лениво размышляя, сейчас истратить двугривенный или приберечь до вечера.

– Пожалуйста, в коляску, господин Олексин! Ждут!

– Кто ждет?

– Туз, Федор Иванович, – восторженно зашелся Зализо. – Козырный туз, господин Олексин! Натуральный! Велел вас к нему...

– Пусть сам идет, коль нужда.

Федор демонстративно отвернулся к стене, а впавший в отчаяние Евстафий Селиверстович заметался, заюлил, замулял, намереваясь вот-вот рухнуть на колени.

– Ведь озолотят, ежели в каприз войдут. Озолотят!

– Пошел он к черту, туз этот. И вы вместе с ним.

– Bravo, господин Олексин, иного и не ожидал. Вы подтвердили свое шестисотлетнее столбовое дворянство.

Голос был звучным и уверенным, и Федор настороженно повернулся. В дверях, держа в левой руке мягкую шляпу, а правой опираясь на трость с золотым набалдашником, стоял плотный господин в сером, тончайшего сукна английском сюртуке. Встретил взгляд Федора насмешливыми глазами, слегка поклонился:

– Позвольте отрекомендоваться: Хомяков Роман Трифионович. В Смоленске был представлен вашей тетушке Софье Гавриловне и сестрице Варваре Ивановне. Не обедали еще, Федор Иванович?

– Пошусь, – угрюмо сказал Федор: его злил и одновременно смущал энергичный напор невесть откуда возникшего господина.

– Не пора ли уж и разговеться?

Вопросы были мягкими, но напор не исчезал. Федор физически ощущал его и, еще продолжая злиться, нехотя начал слезать с кровати.

– В этакой-то одежде далее трактира не пустят. Да и то в первую половину, возле дверей.

– Но вам-то, судя по всему, ваша одежда нравится? – улыбнулся Хомяков.

– Мне – да! – с вызовом сказал Федор.

– Вот и прекрасно. Прошу, Федор Иванович, – Роман Трифионович пропустил растерянного Федора вперед, сунул четвертной подобострастно юлившему Зализо. – Ступай в мою контору и скажи управляющему, что я велел взять тебя писарем.

– Ваше пре... – начал было Зализо, но дверь захлопнулась; бухнулся на колени, истово осенил себя крестным знаменем: – Спасибо тебе, Господи! Услышал ты моленья мои. Услышал и ангела послал. Благодарю тебя, Господи, благодарю!..

2

Летучий отряд без боев продвигался вперед. Суточные марши отряда сдерживались отнюдь не сопротивлением противника, не рельефом местности и даже не усталостью лошадей, а лишь соображениями командира отряда генерала Гурко. Не имея возможности войти в соприкосновение с отступающим неприятелем, генерал не мог оценить ни его количества, ни боеспособности: турки избегали столкновений, а если их к этому вынуждали, сопротивлялись нехотя, рассеиваясь при первой же возможности. Эта тактика очень не нравилась осторожному Столетову.

– Живая сила противника не разгромлена, Иосиф Владимирович, – говорил он в частной беседе. – Враг отходит планомерно, без признаков паники. Не означает ли сие, что турки намереваются повторить кутузовское отступление двенадцатого года?

Генерал-лейтенант Иосиф Владимирович Гурко предпочитал молчать и слушать, а споров вообще не выносил, полагая их салонной принадлежностью, кою в армии надлежит беспощадно искоренять. Поэтому военные советы его носили характер поочередных докладов, невозмутимо выслушивая которые Гурко либо укреплялся в уже принятом им решении, либо менял его, если и до этого в нем сомневался, – но и то и другое делал без объяснений и вежливых ссылок на высказанные чужие мнения. Это обстоятельство весьма обижало герцогов Лейхтенбергских. Но генерал Гурко был назначен самим государем, любим великим князем главнокомандующим, и братья-герцоги терпели столь несветское поведение.

Десятитысячный отряд Гурко составляли: Драгунская бригада – астраханские и казанские драгунские полки – под командованием флигель-адъютанта полковника герцога Евгения Максимилиановича Лейхтенбергского; Сводная бригада – Киевский гусарский и 30-й Донской

полки, – которой командовал генерал-майор свиты его величества герцог Николай Максимилианович Лейхтенбергский; Донская бригада – донские и кубанские казаки – полковника Чернозубова; шесть дружин болгарского ополчения, уральская казачья сотня есаула Кирилова, сто пятьдесят человек конно-пионеров графа Ронникера да полуэскадрон Почетного конвоя штабс-капитана Савина. В отряде было много случайных, плохо понимавших друг друга людей: высокородные братья пытались занять позицию «особ», которые лишь временно, по случаю, вынуждены подчиняться нетитулованному и малоизвестному генералу; Чернозубов хитрил и изворачивался, прикрывая своих казачков, болгарское ополчение не поспевало за кавалерией, и только старый граф Ронникер, уже числившийся в отставке, но добровольно испросивший милости участвовать в освободительном походе со своими добровольцами конно-пионерами, безропотно шел впереди, расчищая путь основным силам Летучего отряда.

А турки пятились, не принимая боя.

– Непонятно мне это, – хмурился генерал Столетов. – Идем, как к Кощею Бессмертному: пугали-пугали да и расступились. Где же дракон, Иосиф Владимирович? Может, за Балканами?

– Дракон? – задумчиво переспросил Гурко.

«Дракона», то бишь турецкие войска, готовые дать бой, ожидали еще под Тырновом, и Гурко приближался к нему с оглядкой, сдерживая лошадей и собственное нетерпение. Но вольноопределяющийся Кубанского полка урядник князь Цертелев очертя голову кинулся вперед. Наспех расспросив встречных болгар, а заодно и турок, где же противник и сколько его, князь бешеным карьером проскакал по кривым улочкам древней столицы Болгарии, переполошив гарнизон и несказанно обрадовав жителей, увернулся от пуль, ушел от попытки перехватить его и лично доложил Гурко, что турецкий «дракон» мал, перепуган и уже начал уползать в горы. И слушая сейчас Столетова, Иосиф Владимирович упорно думал о ловком кубанском уряднике, в недавнем прошлом многообещающем дипломате, в совершенстве владеющем всеми языками и наречиями Османской империи. Но, как всегда, не спешил делиться своими мыслями, помалкивал, изредка вскидывая на собеседника острый – «режущий», как говорили молодые офицеры, – взгляд глубоких серых глаз. И Столетов уезжал к себе, в арьергард, зачистую так и не услышав ни единого слова, но нимало не смущаясь этим: он знал, что командир внимательнейшим образом выслушал его соображения, а своих не высказывает потому, что отвечает не только за тысячи жизней, но и за всю невероятную по дерзости операцию – захват горных перевалов главного балканского хребта.

У командира болгарского ополчения Николая Григорьевича Столетова были свои сложности. Созданное на добровольной основе ополчение состояло из людей, различных не только по возрасту. Восторженных пятнадцатилетних мальчиков и седых отцов семейств, бесшабашных гайдуков и бывших членов Комитета борьбы за освобождение родины, опытных волонтеров Сербской кампании и наивных крестьян, впервые взявших в руки оружие, объединяла горячая любовь к Болгарии; этого было достаточно для лагерных учений, но Столетов совсем не был уверен, что его дружинники способны выдержать затяжной бой с регулярной армией турок.

Турки не брали болгарских юношей в армию, и болгары, обладая богатым опытом гайдукского движения, не имели собственной военной касты. Вследствие этого ополчение формировалось на русском профессиональном костяке: русскими были офицеры и унтер-офицеры, барабанщики и ротные сигнальщики, дружинные горнисты и нестроевые офицеры старших званий. Небольшое количество офицеров-болгар, окончивших русские военные училища, тонуло в общем потоке командиров всех степеней: лишь командир Первой дружины подполковник Косяков был болгарин. Это тоже создавало известные трудности, и не только языкового порядка: русские офицеры, а особенно унтеры, были приучены к иному солдатскому материалу, и русское командование поступило весьма дальновидно, поручив командование всеми

болгарскими частями одному из наиболее образованных, уравновешенных и рассудительных генералов – Николаю Григорьевичу Столетову.

– Господа, прошу учесть, что вы имеете дело с особым людским составом, – неустанно повторял он на всех совещаниях. – Во-первых, они – коренные жители страны, где развернуты боевые действия; во-вторых, у них свое отношение к нашему общему врагу; в-третьих, все они добровольно изъявили согласие не только воевать, но и подчиняться вам в этой войне; в-четвертых, среди них весьма много людей образованных. И все это совокупно следует учитывать каждый час и каждую минуту, не давая воли чувствам, а повинуюсь рассудку.

Поручик Гавриил Олексин служил, старательно исполняя что требовалось, но не стремясь к контактам ни с офицерами дружины, ни с ополченцами собственной роты. Он был сдержан и замкнут куда более остальных, и это обстоятельство не могло пройти мимо чрезвычайно внимательного к подчиненным подполковника Калитина. Командир Третьей дружины был человеком прямым, а долгая жизнь на окраинах империи сделала эту прямоthu грубоватой; ему случалось обижать офицеров резкостью оценок, но он делал это всегда только ради службы. И в беседах с Олексиным от резкости воздерживался, пока однажды не сказал в упор:

– У вас нет друзей. Не знаю причин сего и знать не хочу, но для службы это – прискорбное неудобство. Прискорбное, поручик.

– Да, друзей теперь нет. – Гавриил помолчал, ожидая вопроса, но вопроса не последовало. – Я интересовался списком потерь на переправе: среди погибших – капитан Брянов и гвардии подпоручик Тюрберт. Знал их еще по Сербии.

– Позвольте, о Тюрберте я что-то слышал.

– Я тоже. Он похоронен в Зимнице, и если бы вы позволили...

– Поезжайте, – грубовато перебил Калитин. – Продолжим разговор, когда вернетесь.

Поручик выехал в ночь, к утру был в Зимнице. Переполненный санитарными обозами, тылами и службами городок мирно спал под нескончаемый перестук на переправе. Олексин справился у часовых о церкви Всех Святых и, поплутав, нашел ее еще закрытой. Оставив коня у ограды, обошел кругом: за алтарной стеной, под увядшими цветами, желтел свежий могильный холм. На кресте было старательно и не очень умело вырезано: «ТЮРБЕРТ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ», и Гавриил снял фуражку.

Странно, он и не предполагал, что ощутит над этой могилой столько тоски, горечи и одиночества: с покойным они были скорее врагами, чем приятелями, и вот поди ж ты – боль все-таки добралась до сердца. Он вспомнил насмешливого рыжего увальня в зале Благородного собрания, где познакомил его с Лорой и где, собственно, и началось их соперничество; вспомнил потного, в брызгах чужой крови, устало и обреченно отбивавшегося от черкесской сабли; вспомнил в боях и ученьях, в спорах и на отдыхе, вспомнил все, связанное с ним, и понял, что горько ему не оттого, что под этим крестом лежит его боевой товарищ, а потому, что здесь вместе с Тюрбертом лежит их юность. И он, поручик Гавриил Олексин, сейчас навеки прощается с нею.

Подумав так, он тотчас же вспомнил о несостоявшейся дуэли и о разговоре в Сербии после боя с черкесами Ислама-бека: «Хотите дуэль наоборот?» Вспомнил и громко сказал:

– Вы победили, Тюрберт.

Покой и тишина стояли над маленьким кладбищем – только горlinks тревожно вздыхали в деревьях, – и голос поручика прозвучал неприлично и вызывающе. Гавриил ощутил это, сконфузился и, деревянно поклонившись могиле, быстро пошел к выходу, страшась оглянуться. Никого не встретив, вскочил в седло, прищпорил лошадь и поскакал назад, в роту, ближайшим путем выбравшись из городка. На душе его было грустно и светло, словно, проотившись навеки с Тюрбертом, он нашел взамен что-то очень важное, возвращавшее ему утраченный покой и веру в завтрашний день. «А вот и конец иллюзиям, – сумбурно, обрывками

думал он. – Тюрберт заплатил за меня сполна. Война не призвание, война – профессия, только и всего. Моя профессия. Единственная».

Он доложил Калитину по возвращении, но командир дружины не продолжил разговора, возникшего накануне поездки, и вел себя так, будто разговора этого никогда меж ними не было. В иное время Гавриил, может быть, и сам с облегчением позабыл бы о нем, но теперь, после прощания с Тюрбертом, слова подполковника о друзьях и дружбе звучали для него совсем по-особому. И в первый же свободный вечер Гавриил, собрав офицеров и унтер-офицеров своей роты, рассказал о подпоручике Тюрберте и капитане Брянове, о Стойчо Меченом и Совримо-виче, об Отвиновском и Карагеоргиеве. И, несмотря на то что аудитория хранила напряженнейшее молчание, был очень доволен собой.

– Этакого и внизу не поймут, и вверху не оценят, – сказал на следующий день подполковник Калитин, коему тут же и донесли о странном эксперименте в роте поручика Олексина. – Собрать господ офицеров вместе с унтерами на посиделки – да вы с ума тронулись, поручик.

– Возможно, господин полковник, только умирать им придется рядом.

– Вот и пусть мрут рядом, а сидят врозь, – резко сказал Калитин. – Вы меня поняли, Олексин? И молитесь Бога, чтоб о сем всенародном собрании начальство кто-либо не уведомил.

Перед выступлением на Тырново – уже после переправы через Дунай на той, болгарской стороне – Олексина попросил зайти начальник штаба ополчения подполковник Рынкевич. Не приказал, а именно попросил – мягко, будто был не старшим по должности, а соседом по имению, и эта кошачья мягкость насторожила поручика.

– Видимо, мы с вами плохо молили Бога, – сказал он Калитину после официального уведомления о вызове в штаб.

Калитин молча вздохнул и нахмурился. И когда Гавриил ушел, ринулся к Столетову.

– Оставьте, голубчик, – болезненно поморщился Николай Григорьевич: он не выносил интриг, наушничанья и закулисных шепотков. – Никто вашего командира не тронет. А пожурить – пожурят, и правильно сделают. Нашел место, где демократией кокетничать.

Гавриил ехал в штаб ополчения собранным, будто готовился к бою, а не к доверительной беседе. И был весьма огорошен первой фразой подполковника Рынкевича:

– Вам, поручик, кланяться велели, что с удовольствием и исполняю.

Рынкевич встретил Олексина у входа в палатку, дружески прервал официальное представление, а сказав эти слова, и впрямь отвесил поклон. Это было настолько необычно, настолько не соответствовало предполагаемой цели вызова, что Гавриил окончательно растерялся.

– Не интересуетесь от кого? Да, да, от капитана Истомина: не удивляйтесь, повышение в чине получил за сербские дела, чего и вам от души желает. Высоко отзывался о вас Гавриил Иванович, высоко.

Русские офицеры, воевавшие в Сербии, числились в отпусках или в отставке и по закону никаких чинов получать не могли, однако для штабс-капитана Истомина было, как видно, сделано исключение. Странность заключалась и в том, что Истомин в боевых действиях участия фактически не принимал и ни военными талантами, ни отвагой особо не отличался.

– Личность, говорит, вы романтическая, – продолжал хозяин, усаживая гостя в складные походные кресла. – Прямо-таки, говорит, в некотором роде рыцарь без страха и упрека.

– Благодарю, – сдержанно сказал Гавриил. – Право, Истомин преувеличивает. Хотел бы повидаться и попросить не ставить меня в положение неловкое и двусмысленное.

– Да, да, – будто и не слыша Олексина, говорил тем временем Рынкевич. – Одна история с этим... как, бишь, его?.. С черкесом, словом. Очень полковник Медведовский тогда гневался, очень, но Истомин убедил его не придавать значения.

– Зачем же? Я ведь не по восторженности отпустил тогда Ислама-бека, господин полковник, а исходя из внутренних убеждений и совести своей.

– Все правильно, поручик, все правильно, – почему-то тяжело вздохнул Рынкевич. – Поступки суть плоды, а корни – аккорды струн души нашей. На какую мелодию настроены, ту и исполняют. Все от струн, все. Отсюда и название: мотивы поступков. И коль мотив звучит благородно, так и поступок в этом же регистре.

– У меня дурно со слухом, господин полковник, поэтому хотелось бы без музыкальных аллегорий, – сухо сказал поручик.

– Помилуйте, какие же тут аллегии? – благодушно улыбнулся Рынкевич. – И насчет слуха вы не правы, Гавриил Иванович. Я, к примеру, лишь одну ноту вам в упрек ставлю как фальшивую. Нет, впрочем, и не фальшивую, а – ошибочную. Из другой, так сказать, оперы.

– Господин полковник, я вынужден просить разъяснения, поскольку от музыки далек, что уже имел честь сообщить вам.

– Поясню с удовольствием, – тон Рынкевича вдруг утратил расплывчатую мягкость радушного хозяина. – Вы рассказывали подчиненным о Сербии, это отрадно. Однако не могу не отметить, что слово «враг» вами употреблено необдуманно.

– Сколько помнится, я называл врагами турок.

– Совершенно верно. Только помилуйте, поручик, какой же турок враг? Он – неприятель или, если угодно, противник. А враг у нас с вами за спиной. Враг – это смутьяны, нигилисты, жидаы, социалисты, писаки вредного направления: вот они – враги Отечества нашего. А турок – неприятель, не более того. И разница тут в том, что неприятель – дело преходящее: сегодня турок, завтра француз, послезавтра – немец или китаец. А враг вечен. Он вездесущ и постоянен, и война с ним должна вестись постоянно. Постоянно, Гавриил Иванович, денно и ночью.

– Мой враг – передо мной, – резко сказал Гавриил и весь подобрался, хотя еще не решил, для чего изготовился: для спора или для того лишь, чтобы встать, откланяться да уйти. – А если ваш враг дышит вам в затылок, то попробуйте повернуться кругом.

– Недурно, – Рынкевич улыбнулся, но тут же убрал улыбку. – Не стоит казаться наивнее того, что вы есть, Гавриил Иванович. Уж коли вы попали в наш монастырь, то позабудьте о своем уставе. Болгарские заговорщики, что в Бухаресте интриги плели против законного правительства...

– Вы считаете турок законным правительством Болгарии?

– Всякая власть от Бога, поручик, и извольте выслушать не перебивая, – командно повысил голос начальник штаба. – Играете в демократию, а обязаны блюсти и соблюдать. Продолжаю: Болгарский комитет формально распущен и помогает нам, но вольнодумная зараза осталась. И ваш долг – долг командира роты – немедля уведомить меня, как только оную заразу обнаружите.

– Извините, господин полковник, что вновь прерываю, – Гавриил встал, с трудом сдерживаясь. – Доносам не обучен и уведомлять, как вы выразились, никого не собираюсь. Понимаю, что мой отказ обязывает меня сдать роту более опытному командиру, и с рапортом не задержу.

– Вы неправильно истолковали... – медленно поднимаясь и багровея, начал было Рынкевич.

– Возможно, я туп от рождения. Позвольте на сем откланяться и сегодня же подать рапорт.

Олексин щелкнул каблуками и, не дожидаясь разрешения, вышел из палатки. Едва добравшись до роты, сел писать рапорт. Гнев еще не улегся, и рапорт вышел излишне многословным; командир дружины порвал его, не дочитав.

– Господин полковник, я прошу вашего разрешения, – начал было Гавриил.

– Не дам, – хмуро сказал Калитин. – Не ерепеньтесь, поручик, совестно за вас, право, совестно. Ведете себя как истеричная барынька.

– А как повели бы себя вы, получив предложение стать подлецом?

Калитин неожиданно улыбнулся; всегда озабоченные глаза на миг блеснули мужицкой хитрецей.

– Но рапорт о переводе я все-таки не стал бы писать, право, Олексин, не стал бы. Прощения прошу, но не на то вы обижаетесь. Кабы вам в картишки передернуть предложили или там вдову с детьми малыми на мороз – тут и спору нет. Гоните такому пулю в лоб, а я жизнь положу, чтоб вас оправдать. Но в данном-то случае, Гаврила Иванович, а?

– Но что же меняется, Павел Петрович? – запальчиво спросил поручик. – Что? Форма?

– А то меняется, что не для себя господин тот старается. Не для себя, Олексин, ему от этого выгоды нет – одни хлопоты.

– Странно, – Гавриил несогласно пожал плечами. – Вы оправдываете подобное или я не совсем понял ваши слова?

– Мы живем под законом, – сказал Калитин. – И свобода наша в соблюдении оно, а не в нарушении его. Скажем, посылаете вы нижнего чина на верную гибель, только бы дело выиграть: вы как, убийца? Нет, ни вы себя, ни вас никто таким не назовет, потому что действовали вы по закону. Ну а в том, на что вы обиделись, что ж противозаконного? А ничего, одна амбиция. Рынкевичу по долгу службы надобно о настроениях знать, вот он и печется. А далее уж ваше соображение: хотите – донесите, хотите – нет, никто вас не заставит, а спросить – спросят, – голос Калитина вдруг отчетливо зазвенел командной нотой. – И я, поручик, спрошу, чем ваши ополченцы дышат. Не любопытства ради, а пользы для. И вы мне о каждом подробно доложите, потому что у нас впереди не рыцарский поединок – кто кого переблагородит, а смертный бой за свободу ваших же подчиненных. Так вот, вместо того чтобы губки дуть да рапорты сочинять, извольте досконально изучить свою роту. Досконально, поручик, обижаться после войны будем, – подполковник опять внезапно улыбнулся. – Скажи пожалуйста, какой аргамак необъезженный! Сто ушатов на него в Сербии вылили, а ни на градус не остудили. Ну и слава богу, это-то мне в вас и нравится. Чуете?

Это неожиданное простоватое «чуете?» прозвучало столь искренне, что Гавриил не мог сдержать улыбки. А улыбнувшись, первым протянул руку, нарушая устав и субординацию, но укрепляя нечто большее, что электрической искрой проскочило вдруг между ними. И почему-то вспомнил Брянова.

3

Легкая коляска медленно двигалась по запруженным народом и повозками узким кишиневским улицам. Резвый жеребец, игриво перебирая ногами, норовил сорваться вскачь, и саженого роста кучер с трудом сдерживал его на туго натянутых плетеных вожжах. Даже в отвыкшем чему бы то ни было удивляться Кишиневе выезд вызывал завистливое восхищение; глаза на экипаж, глазели и на седоков, и Федор чувствовал себя весьма неуютно рядом с невозмутимым Хомяковым. Он тут же решил фраппировать: развалился на пружинах, забросив ногу на ногу и закурив сигару. И, неумело попыхивая ею, мучительно страдал от избранной им самим манеры, от истрепанного, мятого костюма и старых, изношенных штиблет. Когда страдания эти достигали определенного уровня, он непроизвольно съеживался, стараясь утонуть в углу сиденья, но тут же, точно спохватившись, вновь менял позу, выставляя для всеобщего обозрения дырявые подошвы. Эта борьба с самим собой столь занимала его, что он не поддержал возникшего было разговора; Хомяков, усмехнувшись, замолчал тоже, и они продолжали путь в полном безмолвии, к вящему удивлению пешеходов.

Коляска остановилась у подъезда самого модного ресторана; при виде Хомякова швейцар согнулся чуть ли не до земли.

– Кабинет, – сказал Роман Трифионович, отдавая трость и шляпу, и тут же оборотился к Федору: – Может, в залу желаете?

– Все равно, – буркнул Олексин: проклятая одежда лишала свободы и легкости, и поэтому Федор злился.

– Коли все равно, то прошу в кабинет. Нам ведь и поговорить надобно, не так ли?

Федор отвык не только от белоснежных салфеток, серебра и фарфора – он давно уж отвык и от нормальной еды, перебиваясь похлебкой да куском хлеба. А стол ломился от изысканных блюд, французских вин и заморских фруктов, и Олексину опять стало не до разговоров; он ощутил вдруг яростный застарелый голод, а утолив его первую атаку, почувствовал мальчишеское желание перепробовать все, что видят его глаза. Хомяков давно уже закончил трапезу и теперь прихлебывал кофе, попыхивая тонкой, с золотым обрезаем голландской сигарой, а Федор все еще ел и ел.

– Хотите шампиньонов? Рекомендую: фаршированы по-особому.

– А черт его знает, чего я хочу, – буркнул Федор. – Я впрямь наедаюсь, если угодно. Нажрюсь на неделю вперед и спасибо не скажу.

– Сочтемся, – улынулся Роман Трифионович. – Слыхал я где-то, что миром правят две богини – Нужда да Скука. Вот бы их за один стол, а?

– Глупо, – сказал Федор. – Нужда поест и заскучает, а Скука проголодается да есть начнет: вот и конец парадоксу.

– Парадокс, говорите? – Хомяков помолчал, будто прикидывая, стоит ли углублять эту тему. – Стало быть, господа социалисты на парадоксе гипотезы свои строят? Вы-то самолично как полагаете?

Федор с огорчением отодвинул тарелку – еще хотелось, но уже не влезало, – залпом, не разбирая ни вкуса, ни букета, выпил вино и, вздохнув, устало откинулся к спинке стула. Посмотрел на Хомякова, на тарелку его с почти нетронутыми закусками, усмехнулся недобро, дернув щекой.

– Ненавидят друг друга дамы эти, куда их за один стол. Их в одном государстве и то вместе держать нельзя, а что-либо одно: либо Нужду, либо Скуку. Так что социализм тут ни при чем, тут и полиция справится: Нужду за решетку, а Скуку...

Он неожиданно замолчал, потому что никак не мог решить, куда же девать Скуку в им же придуманном метафорическом примере. Роман Трифионович с улыбкой ждал продолжения, но продолжения не было; чтобы скрыть неудобство, Федор взял сигару, повертел ее и положил обратно.

– Что же вы замолчали, Федор Иванович? Нужду за решетку – это понятно, опыт имеем, а вот Скуку куда девать? Вот то-то и оно, что не можете ответить, потому как девать госпожу эту совершенно некуда. Веками над этой проблемой мудрецы да правители головы ломают, а воз и ныне там. С Нуждой, Федор Иванович, все просто: накормил да приголубил, и вся недолга. Только ведь сытая Нужда – так сказать, вчерашняя – сегодня о том, что Нуждой была, уж и помнить не желает. Она в Скуку превращается, вот какой фокус-покус. А Скука – это тупик. С вином, холуйством, дамским визгом, с танцами-шманцами, как в Кишиневе говорят, а все равно – без выхода.

Федор хотел было съязвить, что сейчас как раз и происходит тот парадокс, конец которого он объявил столь поспешно: за столом мирно беседуют Нужда и Скука. Но посмотрел на широкие плечи Хомякова, на его по-крестьянски жилистые, сильные руки, на спокойный, уверенный взгляд холодноватых зеленых («мужицких», как невольно отметил про себя Федор) глаз и понял, что этому господину скука неведома, что Роман Трифионович смел, настойчив, силен и не просто готов к борьбе, а любит эту борьбу, ищет ее и видит в ней истинное наслаждение. Подумал и промолчал.

– А не кажется ли вам, Федор Иванович, что именно в этот тупик нас и заманивают господа социалисты? – продолжал тем временем Хомяков. – Ну разделим прибыли, ну землю – мужичкам, ну накормим, оденем, обуем, напоим даже – а дальше? А дальше цели нет, потому

как нет борьбы, драки за кусок пожирнее. И начнется царство вселенской скуки, которую Россия привычно водочкой заливать примется. Так или не так? Что же молчите?

– А с чего это вы решили, что я социализм исповедую?

– Ну, хитрость тут невеликая, – улынулся Хомяков. – Сидит в грошовых номерах города Кишинева образованный молодой человек из господ. Чина не имеет, мундир не носит, торговлей не интересуется, винцом не балуется и даже в картишки не играет. Так кто же он такой после всего этого? Либо социалист, либо юридивый – третьего не дано, как в задачках говорится. И как вас полиция до сей поры не схватила, ума не приложу.

– По какому праву, позвольте спросить?

– Праву? – Роман Трифонович расхохотался, обнажив крепкие, один к одному, зубы. – Чудак вы, ей-богу, чудак, Федор Иванович, не обижайтесь. Какое там право, где вы его видели, где встречали право-то это римское? В университетах о сем учили? Ну так забудьте, нет никакого права ни у нас, грешных, ни в Европе просвещенной. В Европе право денежки заслоняют, а у нас – мундир. Мундир, Федор Иванович, мундир: Россия его до слез обожает, как Богу ему поклоняется и руки враз по швам вытягивает. Ну припомните: был ли у нас хоть один монарх без воинского звания? Не припомните, не старайтесь. Во Франции, скажем, или в Северо-Американских Соединенных Штатах правители почему-то без мундира обходятся, а у нас непременно с таковым. И вот с этого правительственного мундира все и начинается, мера всех вещей и значимость всех граждан. У нас какой-нибудь третьестепенный генералишко ежели поскачет куда, так перед ним враз все будет остановлено: все обыватели, все деятели, вся жизнь – даже войска, в бой поспешающие, с дороги уберут. Какой там бой, какая там жизнь, какое там право личности, ежели его превосходительству покатайся захотелось! «Пади! Пади!» – только и услышишь, будто на улице до сей поры Иван Грозный пошаливает. И все падают. Не в буквальном смысле, так в переносном – мордасами в грязь. Вот оно в чем, российское-то право наше. Право – в праве руки по швам держать.

Роман Трифонович говорил негромко и спокойно, речь его звучала убедительно не потому, что он пытался убедить, – он совсем не стремился завоевать симпатии собеседника, – а потому, что все сказанное было правдой. Федор понимал, что это – правда, что так оно и есть, но – странное дело! – понимая эту правду, он не хотел ее принимать. В нем все вдруг взбунтовалось не против сказанного, а против того, кто это говорил. А говорил ему эту правду вчерашний раб, холоп с поротым задом, мужик, видевший в русском мундире прежде всего ненавистного ему барина, а отнюдь не того, чьей профессией была защита как Отечества в целом, так и жизни этих же самых мужиков в частности. Он почему-то вспомнил отца, его нечастые приезды в Высокое и его обязательные беседы с детьми во время этих приездов. «Нет большей чести, чем пасть в бою, – говорил он им, мальчикам, жадно ловившим каждое его слово. – Вы – дворяне, и ваш долг служить Отечеству, не щадя жизни и не ища наград». Вспоминал и с детства внушенное ему чувство гордости за свой род, в течение многих веков исправно поставлявший России офицеров, захлестнуло его, породив в душе резкое несогласие с правдой, вполне осознанной разумом.

– С Россией – особая история, – сказал он, стараясь говорить так же спокойно и рассудительно, как говорил собеседник. – Наш народ мечом отстоял свою независимость, мечом раздвинул границы, мечом неоднократно спасал Европу. Наши с вами предки могли пахать землю, растить детей, да и попросту жить только потому, что кто-то умирал за них на полях сражений. Поэтому вполне естественно, что мы и доселе уважаем военную форму и славных героев-воинов.

– Резон в ваших рассуждениях есть, – согласился Роман Трифонович. – Только с двумя поправочками, ежели не возражаете. Слышал я, что во Франции члены Академии числом, если помнится, в сорок человек «бессмертными» именуются. Тоже ведь государство, мечом созданное, неоднократно мечом же спасенное и оберегаемое, а бессмертием мудрецов пожаловало,

а не генералов. Мудрецов, Федор Иванович, вот ведь чудачки какие, французишки-то эти. А что касается военного героя, то он, конечно, герой, однако герой сей иногда такое геройство проявляет, что только руками разведешь. Скажем, величайший герой наш граф Александр Васильевич Суворов-Рымникский, князь Италийский, действительно – герой, только разгром Костюшки куда денем, а заодно и Пугачева? Скажете: мол, бунтарей умирал и тем способствовал единству и мощи Отечества нашего? Можно, конечно, и так полагать, однако у нас не тот герой, кто геройство по велению совести своей проявляет, а чаще всего тот, кто велениям власти подчиняется не токмо без ропота, но с восторгом и старанием. Нет, Федор Иванович, не там Россия героев ищет, не там. Поприщ у Отечества многое множество, а мы одно для славы и бессмертия избрали: военно-мундирное. Не пора ли о несправедливости выбора такого подумать, а? Новые силы в России нарождаются, и силы эти признания требуют. Не для славы – для блага Отечества. Промышленность развиваем собственную, ночей не спим, спину горбатим, а нам – палки в колеса. На каждом шагу – палки. Ничего, конечно, справимся, любые палки в муку перемелем, но зачем же силы-то впустую тратить? Ведь их у нас – ой-ой! – горы своротить можем, потому что вчерашний мужик на простор вышел. А мужицкая кость погибче барской: где барская ломается, наша только гнется.

Вторую половину разговора Хомяков провел совершенно иначе, чем первую. Тут не было места тому почти олимпийскому спокойствию, чуть сдобренному иронией: тут Роман Трифонович начал говорить с горячностью и желчью, и Олексин не столько понял причины этого изменения, сколько почувствовал их. А почувствовав, не стал допытываться, как да почему так, а сразу же спросил о том, что тревожило его, но спросил хмуро, заранее прикрывая просьбу, ибо просить не любил и не умел:

– И вы, что же, тоже горы своротить можете?

Хомяков внимательно посмотрел на него, неторопливо налил вина – прислуге он появляться в кабинете запретил, пока не позовет, – отхлебнул, успокаиваясь.

– Какая же из гор вам помешала, Федор Иванович?

– Какая? – Федор тянул, не решаясь переходить к просьбе; это насиловало его, унижало, но он заглушил гордость. – По щучьему велению, по моему хотению доставьте меня к генералу Скобелеву.

– Позвольте полюбопытствовать, зачем?

– В отличие от вас, с детства влюблен в героев, – криво усмехнулся Олексин. – Коли хлопотно или не можете, скажите сразу, я не буду в претензии.

– К Скобелеву я вас доставить могу, сложности тут для меня нет, но... – Хомяков замолчал, достал из кармана письмо, словно намереваясь показать его Федору, однако не показал и снова спрятал в карман. – Могу и рекомендовать, если угодно.

– У меня есть рекомендация, – резко перебил Федор.

– Прекрасно, – Роман Трифонович улыбнулся. – Пропуск в действующую армию я вам доставлю хоть завтра, но лучше было бы чуть повременить.

– Я повременил достаточно.

– В Кишиневе сейчас находится человек, который тоже рвется к Скобелеву. Однако он исполняет определенную должность и, пока не выполнит всех поручений, уехать отсюда не может. А вам прямой резон с ним вместе к Скобелеву явиться: он ведь с Михаилом Дмитриевичем еще в Туркестане вместе воевал.

– Кто же это? – заинтересованно спросил Олексин, подумав сразу же о хмуром капитане Гордееве.

– Штабс-капитан Куропаткин Алексей Николаевич. Знаком с ним коротко, и в моей просьбе он не откажет. – Хомяков решительно отодвинул тарелку, оперся локтями о стол. – И вы, пожалуйста, не откажите. Я достану вам пропуск, познакомлю с Куропаткиным, отправлю с ним вместе, только... При одном условии, Федор Иванович.

– Что же за условие? – насторожился Федор.

– Встретить вместе со мною сестрицу вашу Варвару Ивановну.

Это было так неожиданно, что Олексин совсем растерялся. Тупо поморгал глазами.

– Варю?

– Варвару Ивановну, – подчеркнуто пояснил Хомяков.

– А... Где она? То есть где встречать?

– Здесь, в Кишиневе, недельки через две, о чем в письме сообщила, – Роман Трифонович вновь улыбнулся, но на этот раз улыбка его была натянутой, жесткой, почти зловещей. – Жена у меня помрет скоро, вот какие дела, Федор Иванович. Не далее как через месячишко преставится, больна очень, врачи и руки опустили. А помочь мне Варвару Ивановну встретить да на первое время жизнь новую ей облегчить, отвлечь да развлечь – я очень вас прошу. Очень. Потому как намерения у меня весьма серьезные, Федор Иванович. Весьма серьезные намерения, и очень я рад, что вы в Кишиневе так вовремя оказались. Так что вы мне порадуете, а я – вам порадею. По-родственному, Федор Иванович, ей-богу, по-родственному. По-братски, коли уж прямо сказать.

Федор по-прежнему тупо смотрел на Хомякова, решительно ничего не понимая.

4

Иван Олексин жил теперь в семье старшего брата. Появившись вдруг поздним весенним вечером, поплакав и побуйствовав, сколько того требовал возраст и фамильный нрав, успокоился, но в Смоленск возвращаться отказался наотрез. Не вдаваясь в подробности и ни разу не упомянув о Дарье Терентьевне, с глазу на глаз объявил Василию Ивановичу:

– Пока долг тёте не верну, домой не ворочусь.

– Велик ли долг? – спросил Василий Иванович.

– Больше двух тысяч.

– И где же такие деньги достать рассчитываешь?

Иван неопределенно пожал плечами. Он никогда не интересовался, сколько и каким образом зарабатывают люди на жизнь, но складочка меж бровей, появившаяся в ночь последних слез, убедила Василия Ивановича, что дальнейшие расспросы, а тем паче наставления восприняты не будут. Пережив за короткое время величайший взлет духа, множество тревог, неуверенность в себе, а затем и крушение веры, Иван нашел силы утвердиться в одной идее; старший Олексин понял это, почему и позволил себе высказать лишь пожелание:

– Надо бы в гимназии окончить.

– Сдам экстерном. Здесь, в Туле. Учебники достань.

На том и кончился их единственный разговор о будущем. Иван усиленно занимался, и Василий Иванович в этом смысле был спокоен, зная искреннюю, хотя и не весьма целеустремленную любовь брата к науке. Однако, чтобы сдать на аттестат зрелости экстерном, требовалось особое разрешение, и старший Олексин, поразмыслив, рискнул попросить о содействии Льва Николаевича.

– Молодец, – сказал Толстой, когда Василий Иванович поведал ему о желании Ивана. – Хорошей вы породы, господа Олексины. Аристократизмом не болеете.

– Крестьянская кровь, – улыбнулся Василий Иванович. – Она нас спасает.

– Всех она спасает, – сказал Толстой. – Отечество в сражениях, а нашего брата – от вырождения. Скажите Ване, пусть спокойно занимается.

Иван окунулся в ученье с неистовостью, будто пытался неистовостью этой загасить нечто до сей поры обжигающее его. Обида прошла быстро: он вообще склонен был не лелеять обиды, а поскорее забывать их, унаследовав эту черту с материнской стороны. Осталось потрясение, сделавшее его замкнутым и неразговорчивым, и молодежь – а в Ясной Поляне ее всегда хва-

тало, – пытавшаяся поначалу вовлечь его в игры и развлечения, вскоре отстала с некоторым недоумением. Младший Олексин не дичился, а вежливо скучал в молодом обществе, коли не мог отговориться занятиями или нездоровьем. Он весь был поглощен учением и собственными размышлениями, и эта поглощенность делала его старше всей той веселой, звонкой, смешливой юности, которую так ценил и понимал сам хозяин Ясной Поляны. Но, понимая шумливую веселость яснополянкой молодежи, Толстой понимал и сдержанную замкнутость Ивана, и по его совету Олексина оставили в покое, целиком предоставив книгам, занятиям и самому себе. Иван занимался ежедневно по многу часов, занимался стиснув зубы, до звона в голове и ломящей физической усталости. Занимался не столько для того, чтобы хорошо сдать экзамены за последний класс гимназии, сколько для того, чтобы довести себя до изнеможения и заснуть сразу, едва добравшись до постели.

Дело в том, что к нему очень скоро стала вновь являться Дашенька. Сначала хитренько-злой, распутной, издевательски-торжествующей, потом – молчаливо-покорной, стыдливо прячущей глаза и, наконец, – несчастной, беспомощной, страдающей жертвой каких-то темных, непонятных сил, толкнувших ее на гнусное вымогательство. И если первая ее ипостась вызывала в Иване негодующий отпор, вторая – жалостливое презрение, то Дашенька номер три действовала так же, как действовала живая, теплая, полная женского лукавства и обещаний первая женщина в его жизни. Его Ева, не столько соблазнившая его, сколько – как считал Иван – сама соблазненная каким-то таинственным змием. И именно эта Дашенька, именно это жаркое, физически осязаемое воспоминание о ней и было особенно мучительным, и с ним можно было бороться только одним способом: замучив себя до одури.

Случилось так, что сдавал он экзамены как раз в то время, когда Толстой и Василий Иванович отправились на колофидинской кляче проведать старца-пустынника. Возвращались они уже без Колофидина, где пешком, а где на телеге, домой особо не спешили и прибыли тогда, когда Иван торжественно вернулся с победой. Он сдал все экзамены, получив высшие баллы, через несколько дней ему должны были вручить о сем документ, и в скромной квартире Василия Ивановича был по этому поводу затеян праздничный чай. Екатерина Павловна испекла пирог, все четверо уселись за стол, когда раздался стук в дверь и вошел Лев Николаевич.

– Не пригласили, – укоризненно попенял он. – А я сам поздравить пришел. Помните, Василий Иванович, старец мне советовал гордыню унять? Дельный совет, я сейчас этим особо занимаюсь.

После первой сумятицы, испуга Коли, хлопот хозяйки и некоторой растерянности Василия Ивановича все улеглось.

Пили чай, поздравляли Ивана, ели пирог, хвалили хозяйку.

Разговор шел застольный, обыденный: расспрашивали Ивана, что было на экзаменах да как он отвечал.

– А теперь куда полагаете? – спросил Лев Николаевич. – В университет, по научной части, или в техническое заведение, по практической? А может, блеск привлекает, шпоры, сабля, мундир?

– Позвольте повременить с ответом, – негромко сказал Иван. – Вопрос ваш серьезен весьма, Лев Николаевич, я, признаться, думал над этим, но пока не очень еще уверен.

– Современные молодые люди ищут путей оригинальных, – сказала Екатерина Павловна, как-то особо посмотрев при этом на Василия Ивановича.

Она хотела перевести разговор на опасные, с ее точки зрения, идеи Ивана о долгах и расплатах, но Василий Иванович взглядов не понял и поддержать ее не успел.

– Современные? – Толстой нахмурился, поставил стакан, помолчал. – Извините, Екатерина Павловна, не согласен. Только спорить буду не с вами, так что на свой счет не принимайте, – спорить буду с рутинной наших представлений. Очень уж много в обиходе нашем слов без смысла, а слово без смысла есть ярлык, обозначение, а не понятие. Вот, к примеру, во все

времена к молодым людям прилагали слово «современные», а определение это – пустое. Это все равно что утверждать: масло мажется на хлеб. Ну мажется, а далее что?

– Следовательно, по-вашему, всякая молодежь – современна? – спросил Василий Иванович.

– Безусловно. – Толстой энергично кивнул. – Она родилась в своем времени и, следовательно, современна ему. Это мы с вами можем отстать и оказаться не со временем, а они, – он показал на Ивана и Колю, – не могут, даже если бы и захотели. Это – их время, и всегда их время, и только их время. Пушкин это очень хорошо чувствовал, этот естественный механизм смены, бесконечного обновления жизни.

– У вас уж, поди, и чай остыл, – сказала хозяйка. – Позвольте свежего налью.

– Не откажусь, Екатерина Павловна, благодарствуйте.

– Я ведь совсем другое имела в виду, когда про современность говорила, – продолжала Екатерина Павловна, наливая чай. – Они сейчас самостоятельны весьма, молодые люди. Чересчур, я бы сказала, самостоятельные.

– Можно подумать, что год назад мы с тобой, Катя, американский опыт по наследству получили, а не сами его выбрали, – улыбнулся Василий Иванович.

– Вот-вот! – оживился Толстой. – Удивительная метаморфоза происходит с человеком, как только он шаг в иную возрастную категорию совершает. Смотрите, с какой радостью, как нетерпеливо мы уходим из детства, как рвемся из него. А юность наша покидает нас исподволь, незаметно, будто не мы из нее уходим, а она от нас. Может быть, так оно и есть? Может быть, пора юности – это пора согласия с расцветающей душой, а затем согласие это исчезает, заменяется борением, и мы, проснувшись однажды, уже перестаем понимать ее, юность нашу вчерашнюю, уж смотрим на нее как на племя незнакомое, а посему чуть-чуть, малость самую, и подозрительное. Может быть, отсюда появляется общее определение «чересчур». Чересчур резки, чересчур самостоятельны, чересчур современны... Думать не хотим! – неожиданно резко закончил он. – Привычно и уютно не желаем думать и вспоминать, что сами были точно такими же и наши маменьки и папеньки точно так же применяли к нам словцо «чересчур», как мы – к своим детям. Извинения прошу, что шумлю и витийствую, уважаемая Екатерина Павловна, но завязли мы в словесах своих. Как в трясине завязли и скачем с привычного на обычное, как с кочки на кочку.

Иван в разговор не вступал, хотя со многим и не соглашался. Он был застенчив, в присутствии Толстого слегка робел и предпочитал внимательно слушать, часто говоря себе: «Это надо запомнить», если мысль казалась ему спорной или, наоборот, звучала абсолютом. А Василий Иванович был очень доволен, откровенно радуясь не только приходу дорогого для него человека, но и тому оживлению, которое вдруг прорвалось в Толстом, последнее время находившемся в состоянии либо суровой отрешенности, либо запальчивого неприятия всего окружающего. И стремясь поддержать это толстовское воскрешение, эту живость и заинтересованность, старался вести беседу в том русле, в которое она вылилась.

– Да, юность покидает нас незаметно, уходит, так сказать, на цыпочках, вы правы, – говорил он. – А все же как бы определить ее? Что же это за пора такая, весна-то человеческая? Время испытания идей, поисков и сомнений? А может быть, просто своего места в обществе?

– Это скорее следствия, чем причины, – подумав, сказал Лев Николаевич. – Как определить? Давайте на природу оглянемся, там ведь те же законы. Оглянемся, сравним...

– Со щенками? – неожиданно сказал Иван, густо покраснев.

– Ну зачем же? – улыбнулся Толстой. – С березой, чтоб обидно не было. Или – с яблоней. Корни исправно гонят соки, дерево наливается силой, крепнет, шумит листвой, рвется к солнцу, только – плодов нет. Не отягощены плодами ветви и поэтому с легкостью безмятежной стремятся ввысь, а не никнут к земле, сгибаясь под тяжестью нажитого. Все еще впереди, и каждая веточка, каждый листок знает, что все впереди. Отсюда – спокойствие и гармония,

но... – Толстой настороженно поднял палец, – именно оттого, что каждая клеточка знает о своем предназначении, знает и ждет, возникает чувство неудовлетворенности собой. Возникает дисгармония, но не с внешним миром, а внутри себя. Гармония и дисгармония уживаются в юности внутри человека, душа еще не вступила в общение с миром, она еще занята собой, вот почему юность так легко бросается от отчаяния и слез к восторгу и смеху. Стало быть, это такой период в жизни человека, когда душа его принадлежит ему безраздельно, когда она еще не отъединена от него внешними законами общества, их несправедливостью и ограниченностью, когда она еще крылата. Крылата!

– Значит, все-таки к душе вернулись, – сказал Василий Иванович с долей неудовольствия.

– Спор старый, и не нам его разрешить. Но я чувствовал крылья души своей, когда был юн. А потом то ли сам их отсек, то ли жизнь их откромсала, не знаю. Только берегите крылья, юный друг мой Иван Иванович: человечество так устроено, что первейшей своей задачей полагает спалить эти крылья.

На том и кончился тот памятный для Ивана разговор, который, несмотря на всю отвлеченность, окончательно утвердил в нем то, что до сей поры маячило неясно и бесформенно. Но утверждение это он осознал позднее, а тогда лишь слушал да запоминал, очень польщенный тем, что сам Лев Николаевич назвал его «своим другом Иваном Ивановичем».

Через несколько дней Иван уехал в Тулу получать аттестат. Ждали его не сразу: еще в пору экзаменов он, случалось, ночевал у акушерки Марии Ивановны. Однако на сей раз он не торопился с возвращением: Екатерина Павловна уже забеспокоилась, хотела послать кого-нибудь в город, но тут с проезжим мужиком пришла записка. Иван сообщал, что поступил вольноопределяющимся во вспомогательные войска, а потому прямо из Тулы тотчас же направляется на юг.

«...Долгие проводы – лишние слезы, дорогие мои. Решение мое окончательное, а беспокоиться обо мне нужды нет. Мне положена форма, казенное довольствие и даже жалованье, которое я распорядился пересылать в Смоленск, тетушке. Долги надо платить, Вася, так ведь ты меня учил?..»

Долги, конечно, следовало платить, и Василий Иванович говорил об этом постоянно с верой и убеждением, но в этом разе почему-то испугался и кинулся к Толстому за советом. Лев Николаевич внимательно прочитал записку и грустно улыбнулся.

– Вот вам – души прекрасные порывы, а вы тотчас же гасить их собрались. Признаться, от вас этого не ожидал.

– Помилуйте, Лев Николаевич, он ведь мальчишка еще, без средств, без жизненного опыта.

– Какого жизненного опыта? – Толстой недовольно сдвинул брови. – Вашего? Екатерины Павловны? Или, может быть, моего?

– Личного опыта. Житейского, естественно.

– Так личный опыт лично и приобретается, дорогой Василий Иванович. А мы все норовим свой собственный житейский багаж, свои баулы да саквояжи юности в дорогу навязать. И очень обижаемся, когда она от них отказывается. А ей наше с вами не нужно, она своего ищет.

– Значит, отпустить Ивана? – растерянно спросил Василий Иванович.

– Опоздали! – весело засмеялся Лев Николаевич. – Наш Ваня уж, поди, к Харькову подъезжает!..

5

Тетушка Софья Гавриловна целыми днями раскладывала пасьянсы. Потрясенная семейными трагедиями, неурядицами, неумолимым разлетом молодых Олексиных неведомо куда и неведомо зачем, а главное – запутавшись в таинственных процентах, закладных, векселях и

счетах, она окончательно упустила из рук и семью, и дом. Привыкшая к реальным деньгам и почти натуральному хозяйству недавнего – и, увы, такого далекого! – прошлого, Софья Гавриловна не просто проводила время за картами, а, во-первых, загадывала приятные неожиданности и, во-вторых, напряженно изыскивала выход из сложного финансового положения, в котором оказалась семья. Но выходов не находилось, а пасьянсы, как на грех, никогда не получались. Тетушка ежедневно принимала старательного Гурия Терентьевича со всякого рода отчетами и разъяснениями, ничего в них не понимала, но свято была убеждена, что тихий Сизов не только безукоризненно честен, но и предан лично ей всею душою. И это несколько утешало ее.

Гурий Терентьевич Сизов и в самом деле никого не обманывал, дел не запутывал и ничего не скрывал. Служа верой и правдой и очень уважая хозяйку дома, он старался как мог, но был от природы ненаходчив, робок и мелочен, а потому ни в какие дела, а тем паче спекуляции вкладывать доверенные ему средства не решался, предпочитая действовать без всякого риска и полагая, что точно так же действуют и его контр-агенты. Но Россия уже сошла со старой, веками накатанной дорожки, уже с кряхтением, крайним напряжением сил и беспылашной удалью переползала на иные, железные, нещадно холодные пути; старые состояния трещали по всем швам, новые создавались в считанные месяцы, и в этой азартной перекачке хозяйственного могущества из вялых, барских рук в энергичные, мужицкие риск был непременным условием борьбы. Между привычным барским и казенным владениями смело включивалась третья сила – растущий не по дням, а по часам русский промышленный капитал. Дворянская выкупная деньга сыпалась в карманы тех, кто вынес многовековой естественный отбор, сохранив и ум, и хватку, и умение видеть завтрашний день, кто в один прекрасный день изумил своих бывших хозяев, противопоставив их рафинированной бестолковости трезвую, деловую жестокость. И оставалось класть пасьянсы да загадывать, авось государь, однажды проснувшись, вспомнит тех, чьи шпаги веками охраняли его престол, и издаст закон, по которому бы растерянному потомственному дворянству тек скромный ручеек постоянных субсидий. Но пасьянсы не желали сходиться, последние леса стонали под чужими топорами, а имения вот-вот должны были пойти с молотка.

– Вы позволите, тетя?

Варя вошла в гостиную, когда Гурий Терентьевич уже удалился со своими бумагами и Софья Гавриловна была одна. Она поверх очков строго посмотрела на Варю, со вздохом смешала упрямые карты и сказала:

– Это какой-то рок: я опять ошиблась с валетом треф.

– Я хочу поговорить с вами. – Варя села напротив, похмурилась, внутренне готовясь. – Причем очень серьезно, тетя.

– Конечно, конечно. Отчего бы нам и не поговорить?

– Гурий Терентьевич подробнейшим образом ознакомил меня с текущими делами. – Варя заметно нервничала, старалась говорить спокойно и потому подбирала слова. – Кроме того, я получила письмо... от одного человека. Он досконально изучил наше состояние.

– Да, скверно, – согласилась Софья Гавриловна. – Скажу страшные слова: я в претензии на своих племянников. Возможно, это нехорошо, но им следовало бы изыскать нам помощь.

– От кого вы ждете помощи? У Василия своя семья, Федор – прирожденный бездельник и приживал, а Гавриил, по всей вероятности, до сей поры в плену. Нет, дорогая тетюшка, сейчас такие времена, что помощи следует ждать не от племянников, а от племянниц.

– Я знаю, но не понимаю зачем, – важно кивнула тетюшка. – Она запутана до чрезвычайности, эта самая эмансипация.

– Боюсь, что вам придется подобрать другое определение, когда вы дослушаете до конца. Я много думала, долго сомневалась и даже, как вам известно, обратилась за поддержкой к

Богу, – Варя бледно усмехнулась. – Вы были совершенно правы, тетя, когда однажды сказали, что мне пора определиться.

– А я так сказала? – искренне удивилась Софья Гавриловна. – Любопытно, что я при этом имела в виду...

– И я определилась, – не слушая, продолжала Варя. – Я дала согласие... – Она потерла ладонью лоб, не столько подыскивая слово, сколько прикрывая глаза. – Словом, я определилась на службу к частному лицу. Это обеспечит...

– Варя...

– Это – единственный выход, – с нажимом сказала Варя. – Единственный выход спасти семью от развала и нищеты. Разлетелись все, кто мог летать, но дети остались. Георгий, Наденька, Коля. Мама оставила их на меня, я знаю, что на меня. – Варя судорожно глотнула. – Это – мой долг и крест...

– Варвара! – резко прервала тетушка. – Что, в чем твое решение? Я хочу все знать, потому что я должна все знать.

– Вы заменили нам мать, вы отдали все, что имели, и теперь мой черед, дорогая, милая тетушка, – задрожавшим голосом сказала Варя. – Вы никому ничего не должны – только я. И я верну этот долг, даже если за это меня не примут более ни в одном приличном обществе.

– Варя, Варенька. – Софья Гавриловна суетливо задвигала руками, скрывая дрожь; задевшая колода карт соскользнула со столика и веером рассыпалась по полу. – Варя, я, кажется, кое-что начинаю понимать. Если это так, то не делай этого, родная моя, умница моя, умоляю тебя. Ты погубишь себя.

– Я решилась, тетя. – Варя медленно провела ладонью по лицу и впервые подняла на Софью Гавриловну измученные бессонницей, странно постаревшие глаза. – Я уже написала письмо, получила ответ и сегодня вечером выезжаю в Кишинев.

– К кому же, к кому? Неужели... Неужели к этому... в яблоках?

– Да, к господину Хомякову, тетя.

– Варвара! – Тетушка встала, выпрямив спину и гордо откинув седую голову. – Ты не сделаешь этого. Я запрещаю тебе. Ты не смеешь этого делать. Ты – дворянка, Варвара!

– Я – крестьянская дочь. – Варя тоже встала. – Не знаю, смогу ли я остановить коня, но в горящую избу я войти обязана.

Так они стояли друг против друга и смотрели глаза в глаза. Потом Софья Гавриловна закрыла лицо руками, плечи ее судорожно затряслись. Варя изо всех сил закусил губу, но и у нее уже бежали по щекам слезы.

– Мы еще прощаемся, милая, родная тетушка, – тихо сказала она. – Смотрите, как хорошо легли карты: картинками кверху и все – красные.

Софья Гавриловна больше не просила, не умоляла, даже ни о чем не спрашивала. Очень ласково, со слезами и улыбками вместо слов проводив Варю, жила той же размеренной и растерянной жизнью, только выслушивала ежедневные многоречивые пояснения Сизова уже без прежнего стремления хоть в чем-то разобраться, а почти машинально, по укоренившейся привычке. И так продолжалось, пока однажды Софья Гавриловна не получила весьма любезной просьбы от Александры Андреевны Левашовой навестить ее, уведомив через доставившего письмо лакея об удобном для нее дне и часе. С горечью подумав, что почтенная Александра Андреевна опоздала, тетушка тем не менее указала, когда рассчитывает исполнить просьбу. В назначенный день за нею был прислан экипаж.

– Дорогая моя Софья Гавриловна! – хозяйка встретила тетушку очень любезно, дамы расцеловались и тут же прошли в кабинет. – Я побеспокоила вас по весьма серьезному вопросу, торопясь не только исполнить просьбу доброго знакомого, но и доставить вам неожиданную радость. Я, видите ли, патронирую добровольные лазареты, существующие на пожертвования,

коими полновластно распоряжается мой добрый гений и щедрый жертвователь Роман Трифонович Хомяков: помнится, я имела удовольствие представить его вам.

– Имели. – Софья Гавриловна горько покачала головой.

– Я тревожу вас именно по его просьбе, – продолжала хозяйка. – Эти постоянные хлопоты с лазаретами доставляют массу неприятностей и беспокойств – не знаю, что бы мы делали без Романа Трифоновича! И потом, эта ужасная война, эта кровь и страдания касаются теперь всех нас, всей России. Мой брат князь Сергей Андреевич уже давно там, на полях сражений: он представляет Красный Крест. А сколько молодых людей уже отдали свои жизни! – Левашова вдруг понизила голос. – У меня гостит дальняя родственница по мужу, юная женщина, несчастнейшее существо! Ее муж пал смертью героя при переправе через Дунай, а была она его супругой всего три дня. Три дня счастья, Софья Гавриловна, и на всю жизнь – горе.

– Да, – сказала тетушка. – Кажется, мы вступаем в какой-то слишком торопливый век. В наше время медовый месяц равнялся полугоду. Мы с покойным мужем ездили в Париж...

– А мы с юной вдовой уезжаем в Бухарест, – перебила Левашова, привычно перехватив разговор. – Она хочет отслужить молебен на могиле мужа, а меня зовут дела. Не хватает госпитальных палаток, медикаментов, врачебного персонала. Всего не хватает, а война только началась. Что-то будет?

– Скверно, – строго сказала Софья Гавриловна. – Мой брат предрекал смену знамен. Я тогда не поняла его, а теперь понимаю. О, как я теперь понимаю его! К сожалению, и на склоне лет понимание плетется где-то позади желаний.

– Простите, Бога ради, простите, я позабыла о главном, – спохватилась Левашова. – Сначала – дела, а потом – все остальное, не правда ли? А известия – радостные, и заключаются они в том, что господин Хомяков в письме на мое имя просит уведомить вас, дорогая, что все ваши векселя и закладные им погашены вместе с процентами, никаких долгов у вас более нет, и кредит ваш отныне неограничен. Бумаги о сем он уже выслал со своим курьером, и днями, я полагаю, вы получите... Что с вами, дорогая Софья Гавриловна? Вам дурно? Вы вдруг побледнели...

– Ничего, ничего, благодарю вас, – с трудом сказала Софья Гавриловна. – Жертва. Вот она – жертва. Сколько благородства и сколько безрассудства. Брат говорил о смене знамен: какая чушь! Какая мужская чушь! Пока женщина будет готова на жертву, пока она во имя семьи готова будет отдать самое себя, ничего не случится с этим миром. Решительно ничего: мир в надежных руках. В женских. В нежных женских ручках, Александра Андреевна...

– Да, да, конечно, конечно. – Левашова лихорадочно выдвигала ящики бюро, вороша бумаги, звеня склянками. – Куда-то я засунула капли. Прекрасные немецкие капли... Может быть, внизу?

– Благодарю вас, Александра Андреевна, не надобно никаких капель. – Софья Гавриловна тяжело поднялась с кресла. – Извините меня, я не могу более надоедать вам. Мне надобно домой, домой. Если возможно, экипаж, пожалуйста.

– Конечно, конечно! – Левашова позвонила, распорядилась, чтобы экипаж подали к подъезду. – Мне так жаль, право, что вы уезжаете. Нет, нет, я понимаю, понимаю, но я мечтала представить вам Лору... Валерию Павловну Тюрберт, эту несчастную юную вдову. Мы с детства звали ее Лорой, так уж почему-то повелось...

– Нет, не могу, уж извините. – Софья Гавриловна с трудом, медленно шла к дверям, Левашова заботливо и испуганно поддерживала ее. – Слишком много новостей, дорогая Александра Андреевна. Слишком много для моего старого сердца.

– Я сейчас же пошлю за врачом: его отвезут прямо к вам.

– Ни в коем случае, – строго сказала тетушка. – Я всегда лечусь сама и лечу других. Знаете, у меня есть чудная книга: лечебник. Там указаны все известные болезни и рецепты. И

я всегда пользовала и семью, и дворню, и знакомых. Ко мне даже приезжали издалека. Правда, сейчас появилась масса новых болезней.

– Позвольте хотя бы проводить вас до дома.

– Ни в коем случае, – повторила тетушка, мягко, но настойчиво отводя руки Александры Андреевны. – Пасьянс.

– Что? – растерянно спросила Левашова.

– Пасьянс. – Софья Гавриловна убежденно покивала головой. – У меня никогда в жизни не сходился пасьянс. Никогда. А сегодня вдруг сошелся, представляете? Но какой ценой, Александра Андреевна, какой ценой!..

Глава третья

1

Известие о жестоком разгроме отряда Шильдер-Шульднера было для барона Криденера не просто неожиданной-негаданной военной неудачей, не только болезненным уколом самолюбия, но и окончательным, катастрофическим крушением всех стратегических замыслов. Тут уж стало не до броска на Софию, когда невеста откуда появившиеся в его тылу турецкие войска, воодушевленные победой, могли реально совершить обратное тому, что втайне надеялся сделать он: ринуться всей массой на Свиштов, находившийся от Плевны всего в трех дневных переходах, сокрушить защищавший его 124-й Воронежский полк, захватить переправы у Зимницы и напроочь отрезать от баз снабжения, от резервов и самой державы далеко прорвавшиеся в Болгарию разбросанные по расходящимся направлениям русские отряды. Могли, наконец, не рискуя трехдневным маршем, двинуться на потрепанные части его собственного Западного отряда, смять их, окружить, отбросить и соединиться с сильным гарнизоном крепости Виддин, образовав единый фронт, одинаково опасный как для дунайских переправ, так и для далеко ушедшего к Балканам Летучего отряда Гурко. Черт с ним, с «Кентавром», пусть сам выкручивается, но и этот демарш Османа-паши означал одно: бесславный конец карьеры Николая Павловича.

– Корреспондентов вон, – объявил Криденер ранее всех военных распоряжений.

– Это не совсем удобно, – осторожно начал Шнитников. – Они допущены решением...

– Всех вон, – повторил барон, не дослушав. – За черту Западного отряда. Войска отвести к Бреслянице, имея в тылу Никополь. Отдельно в Болгарени расположите Кавказскую бригаду для действий во фланг, ежели противник двинется к переправам. И немедля готовьте донесение его высочеству.

Несмотря на высылку, корреспонденты узнали все, что хотели узнать. Русская пресса поведала о поражении очень сдержанно, больше упирая на героизм войск, но английская и германская, не говоря уже о турецкой, живо писала о разгроме с ехидством и восторгом, а какая-то из второстепенных немецких газеток из номера в номер начала печатать неведомо кому принадлежавшие записки о походе Наполеона в Россию. Аналогия напрашивалась сама собой, что весьма болезненно било по русскому национальному самолюбию. При этом англичане утверждали (как водится, «из достоверных источников»), что турок было в три раза меньше, чем русских, а русская печать – что на каждый русский штык приходилось десять турецких, турецкая же загадочно помалкивала, чаще упоминая о воле Аллаха, чем о соотношении сторон в первом Плевненском сражении.

Узнав о конфузе под Плевной, Николай Николаевич-старший минут пять топал ногами и ругался, как ломовой извозчик. Непокойчицкий невозмутимо ждал, пока он успокоится, а Левицкий – в последнее время великий князь главнокомандующий стал в пику старику все чаще привлекать к общей работе помощника начальника штаба, всячески отмечая его педантичное усердие, – Левицкий нервно суетился, перекладывая бумаги и пытаясь что-то сказать.

– Что он топчется? – заорал Николай Николаевич. – Что он тут топчется?

– Осмелюсь обратить внимание вашего высочества на цифры, – рука Левицкого чуть вздрагивала, когда он протянул листок. – У турок не менее пятидесяти тысяч, тогда как в отряде Шильдер-Шульднера...

– Врет Шульднер, и Криденер твой врет! – главнокомандующий бешено выкатил белесые глаза. – Без освещения местности прут, без разведки атакуют, все на авось, на авось! – Он вдруг повернулся к Непокойчицкому: – Что молчишь? На сколько соврал Криденер?

– Возможно, что Николай Павлович и не соврал, – тихо и очень спокойно, даже задумчиво, сказал Артур Адамович. – Осман-паша собирает в Плевне всех, кого может, да и по Софийскому шоссе к нему все время идут обозы и подкрепления. Если все принять в расчет, то можно допустить, что у Османа-паши около сорока таборов низама, несколько эскадронов сувари и не поддающееся учету число черкесов и башибузуков.

– А пушек? Пушек сколько?

– Вероятно, около шестидесяти-семидесяти. Следует иметь в виду, ваше высочество, что неприятель занимает весьма выгодную по условиям местности позицию, которую беспрестанно укрепляет.

Тихий голос Непокойчицкого всегда действовал на великого князя успокаивающе. Посопев еще немного и посверкав глазами, Николай Николаевич сел к столу и потребовал карту. Пока Непокойчицкий неторопливо разворачивал ее, Левицкий счел возможным сказать то, о чем его лично просил Криденер:

– Генерал Криденер умоляет ваше высочество доверить ему разгром Османа-паши. Он дал слово, что сметет эту сволочь с лица земли.

Артур Адамович недовольно поморщился: он не любил ругани, громких слов и генеральской божбы. Он любил точно обозначенные на картах войсковые соединения и безукоризненное исполнение приказов. Николай Николаевич заметил его неудовольствие, усмехнулся и сказал, вдруг повеселев:

– Коли сметет сволочь, так вопрос лишь в помощи да в быстроте. Кого можем подчинить Криденеру для уничтожения этого Османки?

– На подходе корпус князя Шаховского, ваше высочество, – начал докладывать Левицкий. – Кроме того, от Царевиты можно повернуть к Плевне 2-ю бригаду 30-й пехотной дивизии...

– Отряд подполковника Бакланова вышиблен турками из Ловчи, – вдруг прервал Непокойчицкий с неожиданной резкостью. – Правда, он занял Ловчу снова, но его непременно вышибут еще раз.

– Ну и что? – сердито переспросил главнокомандующий. – Где Ловча, а где Плевна...

– Рядом, – весомо сказал Артур Адамович и, оттеснив Левицкого, показал по карте опасную близость этих городов. – Если Осман-паша соединится с турками в Ловче...

– Так не дайте ему соединиться! – крикнул Николай Николаевич. – Перебросьте туда кавалерию. Есть поблизости кавалерия?

Генералы переглянулись: надо было решаться. Ближайшие кавалерийские части были в распоряжении Криденера: 9-я кавалерийская дивизия генерала Лашкарева и Кавказская бригада Тутолмина. Перевод их на участок между Плевной и Ловчей означал ослабление основных сил Западного отряда.

– Если соизволите, туда можно направить Кавказскую бригаду полковника Тутолмина, – сказал Непокойчицкий. – Это, конечно, ослабит Криденера, но перед Ловче-Плевненским отрядом можно поставить активную задачу.

Артур Адамович замолчал. Молчал и главнокомандующий, в размышлении барабанил пальцами по карте. Потом спросил отрывисто:

– Сколько у нас пушек?

– Пушек? – Левицкий лихорадочно рылся в бумагах, подсчитывая. – Думаю... Думаю, около полутора сотен.

– В два раза больше, чем у Османки? – радостно засмеялся Николай Николаевич. – Огонь, сокрушительный огонь – вот что мы противопоставим его таборам и черкесам. Отдавайте бри-

гаду этому... – Он вдруг расстроился, поскольку всегда гордился своей памятью на фамилии, а тут запамятовал. – Кого из Ловчи вышибли?

– Подполковника Бакланова, – подсказал Левицкий.

– Вот ему отряд и подчините. Он и местность знает, и битый – значит, злой.

– Позвольте возразить вашему высочеству, – осторожно сказал Непокойчицкий. – Бакланов битый, но не злой, а нерешительный. А нужен – решительный: задача будет сложной, а сил – мало. И есть только один командир, способный эту задачу выполнить: генерал Скобелев-второй.

Великий князь снова нахмурился и недовольно засопел. Левицкий, очень не любивший Скобелева, уловил это недовольство. Сказал, обращаясь к Непокойчицкому и как бы между прочим:

– Извините, Артур Адамович, но ваш протеже – шалопай. Его на пушечный выстрел нельзя подпускать к этой войне: пусть едет в Туркестан халатников бить. А здесь...

– Скобелев – генерал свиты его величества, – вдруг надутно сказал главнокомандующий. – Не забывайся, Левицкий.

– Прошу простить, ваше высочество, – растерялся никак не ожидавший такого афронта Левицкий. – Мне думалось... Я полагал...

– Лучше Скобелева командира для этого дела у нас нет, – с неприсущей ему твердостью повторил Непокойчицкий. – Я настоятельно прошу ваше высочество. Настоятельно.

– Решено, – отрезал Николай Николаевич. – Пусть докажет, на что он способен в европейской войне. Пишите приказ. А ты, – великий князь погрозил Левицкому пальцем, – ты шпильки для дам побереги.

Князь Алексей Иванович Шаховской получил приказ о подчинении Криденеру и новой задаче корпусу на марше. Будучи старым воякой, он делил генералов на боевых и «протяжных», объединяя в последнем определении как протежирование свыше, так и протаскивание, «протягивание» в чины, вопреки заслугам и логике. Криденер был «протяжным» в чистом, так сказать, виде, но князь превыше всего чтит дисциплину, а посему ничем не выказал личной обиды. Он тут же вызвал Бискупского, прикинул с ним, как проще и быстрее повернуть войска с марша на иные направления, распорядился о приказах, но задержал начальника штаба, спешившего удалиться для исполнения полученных распоряжений.

– Плевна, Плевна, Плевночка, – бормотал старик, разглядывая карту и сердито дуя в усы, отчего они начинали топорщиться, как у kota, что являлось признаком крайнего недовольства. – Слушай, Константин Ксаверьевич, у тебя найдется пара толковых штабных офицеров?

– Найдется, Алексей Иванович.

– Мне нужна разведка Плевны с востока и юго-востока: судя по всему, нам в этом направлении атаковать придется. Дороги, колодцы, крутизна скатов, обзор – ну да не мне тебя учить. Пока перестраиваться будем, пусть все разузнают.

Западный отряд, наученный горьким опытом, готовился на сей раз к предстоящему штурму очень тщательно. Никто уже не заикался об «усмирении», и даже сам Криденер перестал презрительно именовать Плевну «плевком»: урок был суров, а ставка слишком высока. И поэтому, когда начальник штаба генерал-майор Шнитников осторожно намекнул, что не худо бы было разведать Плевну хотя бы со стороны возможного направления атаки, Криденер, обычно считавший разведку ниже достоинства русского генерала, на сей раз ухватился за этот намек с необычной активностью.

– Да, да, непременно. Узнайте у Шульднера, откуда его обстреливали особенно крепко: пусть ваши офицеры поищут иных направлений.

Только после разведки, произведенной Генерального штаба подполковником Мацеевским и капитаном Биргером, после секретного совещания с начальником штаба Шнитниковым и «героем» первого штурма Плевны Шильдер-Шульднером генерал-лейтенант Криденер

решился собрать военный совет. Совет состоялся 14 июля в селе Бреслянице, куда Криденер пригласил командира XI корпуса князя Шаховского, начальника 5-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта Шильдер-Шульднера, командира 9-й кавалерийской дивизии генерал-майора Лашкарева, начальников артиллерии обоих корпусов генералов Калачова и Пахитонова, начальников штабов этих корпусов и личного представителя Главной квартиры генерал-майора свиты его величества светлейшего князя Имеретинского.

– Что-то Скобелева не вижу, – ворчливо отметил Шаховской, усаживаясь.

– Не знаю, почему он не явился, – нехотя сказал Шнитников. – Приглашение Михаилу Дмитриевичу было послано своевременно.

– Приглашение или приказ? – колюче взъерошил седые брови Алексей Иванович.

– Это не важно, – холодно отметил Криденер. – Скобелев выполняет задачу охранения, не более того. Задача настолько третьестепенна, что присутствие его есть голая формальность, от которой он уклонился.

– Простите, не понял вас, – сказал Имеретинский. – Одно дело – приказ, дающий генералу право решающего голоса в совете, а иное – приглашение послушать, что будут говорить остальные. Так в каком же качестве вы желали здесь видеть Скобелева, Николай Павлович?

– Мне не нужны советы Скобелева, – сухо поджал губы Криденер. – Его опыт войны с дикарями ничем не может нас обогатить. Если ваша светлость не возражает, я бы хотел начать совещание.

– Пожалуйста. – Имеретинский пожал плечами. – Я всего лишь гость, распоряжайтесь.

Обстановку докладывал Шнитников. обстоятельно разобрав причины неудачи первого штурма, заключавшиеся, по его мнению, в перевесе сил Османа-паши, отсутствии должной разведки местности и слабой связи между наступающими частями, он обрисовал расположение войск, их подготовку, предполагаемые перемещения и наличие артиллерии, перейдя затем к данным о противнике.

– По нашим сведениям, неприятель располагает сейчас шестьюдесятью-семьюдесятью тысячами активных штыков.

– Разрешите вопрос, ваше превосходительство, – поднялся Бискупский, обращаясь к Криденеру. – Откуда эти сведения?

– Сведения? – Шнитников замаялся. – Мне бы не хотелось упоминать источник, но они, к сожалению, сомнений у нас не вызывают.

– Среди нас есть турецкие шпионы? – сдвинул брови Шаховской. – Так гоните их в шею, барон!

В комнате возник шум. Пахитонов негромко рассмеялся.

– Спокойно, господа, – сказал Криденер. – Если представитель его величества полагает...

– Я полагаю, что следует уважать военных вождей, – негромко сказал князь Имеретинский.

– Сведения сообщил дьякон Евфимий, бежавший из Плевны, – доложил Шнитников, дождавшись согласного кивка Криденера.

– С какой же поры русская армия основывает свои решения на поповских подсчетах? – зарокотал Шаховской. – Известно, что у беглеца всегда глаза на заднице.

– Главный штаб и его высочество согласны с этой цифрой.

– Тогда вообще ерунда какая-то, – продолжал непримиримо ворчать Алексей Иванович. – Их семьдесят тысяч, не считая башибузуков, и они в укрытиях. А нас еле-еле двадцать шесть тысяч, и эти двадцать шесть тысяч мы по чистому полю под пули и картечь пошлем. – Он грузно повернулся к Имеретинскому: – Вас устраивает такая арифметика, князь?

– Сил мало, ничтожно мало, Алексей Иванович, – вздохнул Имеретинский. – Но большего у нас нет, а ждать, покуда из России подтянутся резервные корпуса, невозможно. Обстановка требует немедленной ликвидации этого опасного нарыва.

– Бойня, – хмуро констатировал Шаховской. – Хорошо кровушкой умоемся, господа командиры, хорошо.

– У нас в два с половиной раза больше орудий, – сказал Шнитников. – Именно на этом превосходстве и построен план Николая Павловича.

После длительных прений, дополнительных вопросов под непримиримое ворчание князя Шаховского совещание выработало основную схему штурма плевненских позиций. Наступление было решено вести с восточной и юго-восточной сторон «как наиболее важных в стратегическом отношении и наиболее доступных в тактическом», при непосредственной и постоянной поддержке артиллерии на всех этапах сражения.

– К этому считаю необходимым добавить нижеследующее, – сказал Криденер и, взяв заранее подготовленную бумагу, начал читать: «Ввиду того, что при такой несоразмерности сил взятие Плевны стоило бы несоразмерно больших жертв, а неудача могла бы иметь крайне вредные последствия на общий ход военных действий, решено, несмотря на доблестный дух войск, готовых на всевозможные жертвы, испросить предварительно окончательное повеление».

На этом и закончился военный совет, один из самых странных военных советов в истории. Странность его заключалась в том, что в принятом решении уже было заложено неверие в победу, но ответственность за это довольно неуклюже перекладывалась на Главный штаб и самого главнокомандующего. Но непримиримый Шаховской к концу уже умирался, князь Имеретинский получил указание во что бы то ни стало настоять на штурме, а остальные помалкивали, не решаясь спорить с упрямым и злопамятным Криденером. И в результате войска получали приказ, в который не верили их собственные командиры.

– Ну, артиллерия, вывезешь? – спросил Шаховской Пахитонов, прощаясь.

– Бог не выдаст, свинья не съест, Алексей Иванович, – улыбнулся Пахитонов. – Только у Османа-паши, между прочим, стальные орудия Круппа.

– Лихо, – усмехнулся в седые усы Шаховской. – Не даст его высочество согласия, видит Бог, не даст. Это же с ума сойти какой конфуз возможен. С ума сойти!

Донесение о сем совете было отослано главнокомандующему немедля. Ответ на него пришел лишь через два дня: видно, и там спорили, взвешивали, сомневались. 16 июля главнокомандующий телеграфировал:

«ПЛАН ВАШЕЙ АТАКИ ПЛЕВНЫ ОДОБРЯЮ, НО ТРЕБУЮ, ЧТОБЫ ДО АТАКИ ПЕХОТЫ НЕПРИЯТЕЛЬСКАЯ ПОЗИЦИЯ БЫЛА СИЛЬНО ОБСТРЕЛЯНА АРТИЛЛЕРИЙСКИМ ОГНЕМ».

В тот же день к вечеру гонец доставил Криденеру личную записку Непокойчицкого. Рекомендую широко и маневренно использовать конницу, дабы рассредоточить внимание противника и парализовать возможные действия его кавалерии, Артур Адамович в конце писал главное: «...*Великий князь особенное внимание обращает на то, что вы, Николай Павлович, имеете до ста пятидесяти орудий и что ими следует воспользоваться с тем, чтобы разгромить противника, употребив для этого хотя бы целые сутки, а уж затем наступать пехотою. Не спешите с атакой, барон, прошу вас, не спешите: громите их огнем, сколько того потребуется, ибо только в этом вижу я ключ к победе...*»

– Все в стратегии лезут, – сказал Криденер, пренебрежительно отбросив записку. – Даже недобитые полячишки – и те на советы горазды.

Участь второго штурма Плевны была решена.

2

– Все правильно, – вздохнул свободно Скобелев, узнав подробности о разгроме Шильдер-Шульднера, и выругался заковыристой казачьей матерщиной.

Еще числясь в резерве, не только не зная, но и не предполагая свое возможное участие во втором сражении под той же злосчастной Плевной, Михаил Дмитриевич, пользуясь предоставленной ему свободой и временем, где только мог собирал сведения об Османе-паше и его армии. Он перечитал все газеты, доставленные ему Макгаханом, хотя обычно читать их не стремился, поскольку не выносил разухабистой газетной лжи. Цифры, сообщаемые англичанами, равно как и русскими, ни в чем его не убедили.

– Сложите вместе и поделите пополам, – сказал опытный Макгахан. – Возможно, получите нечто похожее на истину.

– Сложите все вместе и суньте в печку, – буркнул Скобелев, возвращая ворох газет. – Мне нужна истина, а не нечто на нее похожее.

Накупив у маркитантов табаку, пряников, конфет и других гостинцев, он выехал в ближайший лазарет: лошадь казака-коновода была сплошь увешана мешками. В лазарете лежали костромичи, спасенные казаками Тутолмина при отступлении с Гривицких высот. Генерал щедро оделил всех подарками, терпеливо выслушал большей частью бессвязные рассказы, как шли под огнем, как атаковали редут, как погиб Клейнгауз и как подпоручик Шатилов вел остатки полка в последнюю атаку. Каждый рассказывал свое, пережитое, но Скобелев никого не перебивал, а лишь направлял разговор туда, куда ему было нужно.

– Я, стало быть, замахнулся – ан, а колоть-то и некого!

– Значит, боится турка русского штыка, братец?

– Не выдерживает он, ваше превосходительство, жила не та. Ну, поначалу, конечно, машет, а потом скучать начинает. Ежели, скажем, соседа его положили, так он уж на месте не останется. Он сразу назад побежит или аману запросит.

– А стреляют как?

– Стреляют почаще нашего, много почаще, ваше превосходительство. Верно ли говорю, ребята?

– Да уж патронов не жалеют, – отозвались раненые, со всех сторон окружившие генерала. – И ружья ихние почаще наших бьют.

– Только вот... – белобрысый паренек с перебинтованным плечом вдруг засмутился, вскочил и вытянулся. – Виноват, ваше превосходительство, разрешите доложить!

– А ты не скачи, парень, не скачи, – улыбнулся Скобелев. – У нас беседа, а не строй, и ты есть раненный в бою воин. Значит, я перед тобой стоять должен, а не ты передо мной.

– Да я, это... – парень широко улыбнулся. – Докладывать хотел, ваше превосходительство.

– Говори, что хотел.

– Да он, турка-то, хоть и много палит, а без толку, ваше превосходительство. Он нас боится, и целить ему недосуг. Руки у него дрожат, что ли, так он ружье на бруствер кладет и палит, не глядя.

– Верно Степка говорит, правильно, – поддержали с разных сторон. – Это есть, ваше превосходительство. Шуму, значит, много, а толку мало.

– На испуг берет басурманин.

– Ну, не совсем так, – сказал молчавший доселе молодой человек с белой повязкой на голове. – Их винтовки дальноточнее наших, Михаил Дмитриевич. Вы позволите так обратиться?

– Позволил уже, – сказал генерал. – Вольноопределяющийся?

– Так точно, вольноопределяющийся Мокроусов, недоучившийся студент. Так вот, Михаил Дмитриевич, они это качество неплохо используют при нашей атаке. Сплошной веер пуль встречает нас еще издалека, шагов чуть ли не за тысячу. Но Степан прав, целиться они не стремятся: то ли темперамент захлестывает, то ли нас побаиваются. Поэтому веер этот идет как бы в одной плоскости, понимаете? И если, допустим, пригнуться, то он будет идти над головой.

– Что, не снижают прицел? – заинтересованно спросил Скобелев.

– Практически нет. Судите сами: у нас тут куда больше ранений от холодного оружия, чем от огнестрельного. А вот для офицеров – все наоборот.

– Отчего же так?

– Видимо, в офицеров они все же целятся. Может быть, не все, а специально отобранные для этого хорошие стрелки. У офицеров и форма заметнее солдатской, и идут они впереди – их легче издали определить.

– Следует ли из ваших слов, что для офицеров куда опаснее сближение с противником, чем сама рукопашная?

– Пожалуй, так, Михаил Дмитриевич. Конечно, я впервые был в бою, мне трудно обобщить.

– Впервые был, а видел многое. – Скобелев встал. – Спасибо, ребята, вы мне очень помогли. Дай вам Бог здоровья и счастливого возвращения.

Вернувшись домой, Скобелев обстоятельно продумал весь разговор, записав для памяти выводы, к которым пришел: турки не выносят штыкового боя в одиночку; стреляют неprecельно и, как правило, с бруствера, что создает одну полосу поражения, под которую можно нырнуть, как под воду; сближение с противником опаснее самого боя, и, следовательно, это сближение нужно сокращать до минимума. Он писал, обдумывая каждый пункт, вспоминая оживленные, открытые лица раненых, высоко оценивших посещение генералом их солдатского лазарета. За окном сгустились короткие южные сумерки, генерал все ниже склонялся к бумаге, не замечая, что темнеет. А заметил, лишь когда хмурый адъютант Млынов внес зажженные свечи.

– Вот, пишу. – Михаил Дмитриевич виновато улыбнулся. – Зачем пишу, черт его знает. Разве для истории?

– Там полковник Нагибин приехал, – сказал капитан.

– Нагибин в том бою был? Вот удача! – Скобелев захлопнул бювар, отложил в сторону. – Давай его сюда. И коньяк тащи. Да не какой-нибудь, а с «собакой», слышишь, Млынов?

– На всех с «собаками» не напасешься, – проворчал Млынов выходя.

Офицерство позволяло себе румынский коньяк (за французский маркизанти драли бешеные деньги), но лучшим считался тот, на бутылке которого была изображена собака. Поскольку денег у Скобелева никогда не водилось – он умудрялся тратить генеральское жалование в считанные дни, – то хмурый капитан Млынов частенько кормил и поил своего командира из личных, весьма скромных средств.

– Поздравляю! – еще с порога крикнул Нагибин и, шагнув, обнял Скобелева. – Поздравляю, дорогой вы наш Михаил Дмитриевич! Я прямиком от Непокойчицкого; он-то и велел вас поздравить.

– Да с чем поздравлять-то? – сердце Скобелева сладко защемило от предчувствия чего-то радостного. – С чем же, полковник?

– Отдельный отряд вам дают, Артур Адамович уж и приказ готовит. Просился и я к вам, умолял, чуть на колени не бухнулся – отказали. – Нагибин хотел выругаться, но сдержался. – Знаю, что бригаду Тутолмина вам передают, а более не знаю ни о составе, ни о задаче. Так что и не спрашивайте попусту.

– Водки! – закричал Скобелев, хватив полковника кулаком в грудь. – Млынов, чертов сын, где ты там?

– Вы же коньяку пожелали, – сказал, появляясь в дверях, Млынов. – С «собакой» причем.

– Коньяк пусть Криденер жрет с собакой, а мы по-русски гулять будем. По-русски, козаче, по-нашенски!

Скобелев пил много, но не пьянел, а только оживлялся, говорил громче обычного, чаще смеялся да распахивал сюртук в любом обществе. Поднимая тосты за вольный Дон, за славу русского оружия и за русского солдата – этот тост Михаил Дмитриевич произносил всегда, при

всех обстоятельствах, – Скобелев не забывал о первом деле под Плевной и дотошно расспрашивал Нагибина. Поначалу полковник толково изложил все, что видел, знал и о чем слышал, подробно рассказав о своем последнем разговоре с командиром костромичей полковником Клейнгаузом.

– А Игнатий Михайлович говорит: веером, мол, дамским наступаем. Веером на турка замахиваемся, а не кулаком. Вот и загинул, бедолага, ни за понюх табаку.

Большого добиться от захмелевшего с устатку казачьего полковника Михаил Дмитриевич не смог. Впрочем, он не огорчился: пил, шутил, оглушительно смеялся и угомонился лишь под утро. Млынов оттащил уснувшего Нагибина на генеральскую постель, а Скобелев выпил две чашки крепчайшего кофе, приказал окатить себя колодезной водой и, протрезвев, ускакал в штаб, моля Бога, чтобы только не нарваться на великого князя главнокомандующего. Загодя пожевав специально припасенного для этой цели мускатного ореха, дабы отбить могущий сразить собеседника дух, сам привязал коня у коновязи и приказал дежурному доложить о своем прибытии.

Принял его Левицкий: начальник штаба был спозаранку востребован к главнокомандующему. Отношения между Левицким и Скобелевым сложились уже давно, еще во времена удалой молодости Михаила Дмитриевича, и были на редкость простыми: Левицкий терпеть не мог генерала за «шалопайство», а Скобелев ни в грош не ставил стратегические дарования помощника начальника штаба, видя в нем лишь заскоружлого педанта, интригана и гатчинца по стилю, духу и устремлениям. В полном соответствии с этими взаимоотношениями складывался и их разговор.

– Подписан ли приказ о моем назначении командиром отдельного отряда?

– Насколько мне известно, его высочество подписал такой приказ.

– Какие части мне подчинены и какова моя задача?

– Все изложено в приказе.

– Где же приказ?

– У Артура Адамовича. Приказ пришлют после регистрации, как положено.

– Когда освободится Непокойчицкий?

– Когда будет отпущен его высочеством.

– Понятно, – Скобелев изо всех сил скрывал нараставшее в нем бешенство, припадкам которого был подвержен, в особенности после неумеренных возлияний. – Могу ли я, по крайней мере, спросить ваше превосходительство о силах неприятеля и общей обстановке под Плевной?

Левицкий поколебался, но отказать в такой просьбе уже утвержденному приказом командиру отдельного отряда все же не рискнул. Скучным голосом объяснил по карте обстановку, расположение войск, упомянув не без затаенного ехидства, что Осман-паша имеет в своем распоряжении не менее шестидесяти тысяч низама. Скобелев недоверчиво свистнул, и Левицкий, прервав объяснение, заметил с неудовольствием:

– Вы не в конюшне, генерал.

– Прошу прощения, – пробормотал Скобелев. – Где Тутолмин?

– На рысях спешит в ваше распоряжение.

– Насколько мне известно, он не участвовал в деле. Бригаду его не растащили по кускам?

– Насколько мне известно, нет.

– Благодарю за разъяснения. – Скобелев коротко кивнул и направился к выходу.

– Может быть, вас интересует, кто назначен начальником вашего штаба? – неожиданно спросил Левицкий.

Он спросил не потому, что вдруг захотел хоть чем-то помочь Скобелеву. Он упомянул о начальнике штаба только потому, что дорожил отношениями с ним и не желал омрачать их в будущем.

– Кто же?

– Полковник Генерального штаба Паренсов.

– Благодарю. – Скобелев еще раз кивнул и вышел на крыльцо.

Он мог бы дожидаться Непокойчицкого и получить долгожданный приказ, но боялся, что непременно нарвется на самого великого князя, и, поразмыслив, решил найти Паренсова. Он был хорошо знаком с ним еще по Академии Генерального штаба, ценил его обширные знания, способность быстро оценивать изменчивую обстановку боя и без колебаний принимать решения. Конечно, было бы куда удобнее и полезнее для службы, если бы ему вернули его прежнего начальника штаба Алексея Николаевича Куропаткина, с которым он проделал всю Туркестанскую кампанию и который понимал его с полуслова. Но требовать Куропаткина сейчас, только-только выбравшись из опостылевшего безделья и еще ничем не проявив себя в этой войне в качестве самостоятельного командира, было преждевременно, и Скобелев скрепя сердце решил с этим повременить. Тем более что кандидатура Петра Дмитриевича Паренсова на этом этапе его вполне устраивала.

Скобелев разыскал полковника Паренсова куда быстрее, чем рассчитывал, потому что Петр Дмитриевич, уже зная о своем назначении, сам искал этой встречи. Выразив взаимное удовольствие как от свидания, так и от предстоящей им совместной службы, они нашли укромное местечко, где Паренсов и поведал Скобелеву, что в распоряжение последнего поступает не только Кавказская бригада Тутолмина, но и отряд подполковника Бакланова, занявшего недавно Ловчу.

– Откуда знаешь? – недоверчиво спросил Скобелев. – Штабные наболтали?

– Старому разведчику таких вопросов не задают, – усмехнулся Паренсов.

Он действительно был разведчиком: еще до начала войны, в 1877-м году, семь месяцев путешествовал по Болгарии, собирая сведения для русского Генерального штаба. Прекрасно владея болгарским и турецким языками, Петр Дмитриевич не только выведывал то, что ему было нужно, но и умел видеть, наблюдать, слушать и сопоставлять слухи, добытые разными путями. Его неоднократно арестовывали турецкие заптии, он сидел в Рушукской тюрьме, но сумел выскользнуть и доставить русскому командованию поистине бесценные сведения. Скобелев слышал об этой разведке, но расспрашивать не стал: он был военным до последней косточки, а потому всегда интересовался только тем, что входило в круг его обязанностей. И сразу же рассказал об обстановке, с которой его ознакомил Левицкий.

– Ты веришь, что Осман успел собрать шестьдесят тысяч пехоты?

– Сомнительно, – подумав, сказал Паренсов. – Слишком мало у него времени для этого.

Можем уточнить, если желаете.

– Каким образом?

– Есть такой образ. И должен сказать правду, если сам ее знает. Пошли.

– Куда?

– К полковнику Артамонову, – сказал Паренсов уже на ходу. – Он хитер и недоверчив, как стреляный лис, но мне вряд ли откажет.

– Что, одна епархия? – не без ехидства спросил Михаил Дмитриевич.

Паренсов молча усмехнулся.

Полковник Артамонов принял их сдержанно. Он знал Скобелева не столько как полководца самобытного и дерзкого таланта, сколько как шумного, не в меру хвастливого и склонного к веселым компаниям, весьма легкомысленного холостого человека. По роду своей службы и складу характера он сторонился подобных людей, но с генералом пришел Паренсов, службу которого у Скобелева дальновидный Артамонов сразу же определил как временную. Где потом окажется Петр Дмитриевич, Артамонов мог только догадываться, но не без оснований полагал, что прекрасное знание Паренсовым данного театра военных действий и в осо-

бенности населяющего его народа вскоре будет использовано командованием с наибольшей пользой для дела. Исходя из этих соображений, он и принял внезапных гостей.

– Чем могу служить?

Скобелев открыл было рот, чтобы с ходу выяснить то, что его сейчас интересовало, но Паренсов поторопился заговорить первым.

– Просим извинить нас, Николай Дмитриевич, мы рассчитываем не просто на конфиденциальный совет ваш, но на разговор особо дружеский и сугубо доверительный. Если мы смеем на это надеяться, то заранее благодарим; если же вы откажете нам в доверии, мы покинем вас незамедлительно и без всяких претензий.

Артамонов пожевал тонкими губами, потер высокий костистый лоб худыми длинными пальцами, привыкшими держать карандаш и никогда, как вдруг подумалось Скобелеву, не сжимавшими эфеса сабли. Тихим голосом пригласив гостей садиться, сказал, что вынужден ненадолго покинуть их по делу, и тут же вышел.

– Бумажная душа, – проворчал Скобелев.

– Эта бумажная душа, Михаил Дмитриевич, два года лазала по Европейской Турции, где и произвела глазомерную съемку местности на протяжении двух тысяч верст.

– Вроде тебя? – не удержался Скобелев.

– У меня была иная задача, – улыбнулся Паренсов. – Но если бы не бессонные ночи Николая Дмитриевича Артамонова, вряд ли бы вы, ваше превосходительство, имели новейшие карты этого театра военных действий. – Петр Дмитриевич помолчал. – Хозяин наш скрытен и не доверяет порой самому себе. Поэтому, если не возражаете, расспрашивать буду я.

– А я что должен делать?

– А вы по-генеральски поглаживайте бакенбарды, если я веду разговор в правильном русле, и кашляйте, если меня унесло.

Вернулся Артамонов. Плотно прикрыл за собой двери, заглянул в единственное оконце, заботливо поправив при этом занавеску. Прошел к своему столу, сел и положил сплетенные пальцами руки перед собою.

– Я отослал людей, в доме никого нет.

– Генерал Скобелев получил в свое распоряжение отдельный отряд, – неторопливо начал Паренсов. – Судя по тому, что к этому отряду причислены части подполковника Бакланова, оперировать нам придется где-то между Плевной и Ловчей. Как известно, турки намертво вцепились в Плевну, но логично предположить, что они попытаются столь же энергично вцепиться и в Ловчу.

– В Ловче – Бакланов, – сказал Артамонов.

– Надолго ли?

Артамонов опять пожевал губами и стал тереть пальцами лоб. Молчание затягивалось.

– Мне желательно знать... – с генеральскими интонациями начал было Скобелев, но Паренсов так глянул на него, что он сразу примолк и начал рассеянно поглаживать бакенбарды.

– Я не пророк, – тихо сказал Артамонов, – но полагаю, что вы, Петр Дмитриевич, правы: Осману-паше нужна Ловча.

– Откуда можно ожидать атаки на нее?

– Повторяю, я не пророк.

– И все же, Николай Дмитриевич? – настойчиво, но весьма деликатно допытывался Паренсов. – По сведениям Левицкого, у Османа-паши свыше шестидесяти тысяч низама. Если это соответствует действительности, то Осману ничего не стоит выделить треть своих сил для захвата Ловчи. Отсюда вопрос: Левицкий назвал ту цифру, которую вы ему сообщили?

– Левицкий назвал цифру, полученную от дьякона Евфимия, – сказал, помолчав, Артамонов. – Я ему таких сведений не предоставлял.

– А каковы ваши цифры? – продолжал наседавать Паренсов. – Мы ведь не любопытства ради допытываемся, дорогой Николай Дмитриевич. Если мы окажемся между Плевной и Ловчей, куда нам направить свои пушки?

– Пушек-то будет – кот наплакал, – хмуро проворчал Скобелев. – Кровью ведь умоемся и кровью держать будем.

– Осман-паша не пойдет на Ловчу. – Артамонов сказал это настолько тихо, что Скобелев и Паренсов невольно подались вперед. – Разделите цифры дьякона Евфимия пополам, и вы получите более или менее реальное представление о силах Османа-паши.

– Так ведь... необходимо немедленно довести до сведения главнокомандующего! – крикнул Скобелев, вскакивая. – Ах, крысы штабные...

– Сидите, Михаил Дмитриевич, сидите, – сквозь зубы процедил Паренсов. – Сидите и гладьте свои бакенбарды.

– Я все сообщил, – глухо сказал Артамонов. – Я все сообщил своевременно, но мою докладную записку навечно положили под сукно.

– Но почему же? Почему? – вновь не выдержал Скобелев.

– Почему? – полковник Артамонов вдруг зло улыбнулся. – Потому что кое-кому это весьма выгодно. Победил – так победил шестьдесят тысяч, имея у себя двадцать пять. Не победил – так тоже потому, что у Османа все те же мифические шестьдесят тысяч вместо реальных тридцати. Некоторые генералы умеют побеждать, а некоторые – воевать. Тоже, между прочим, искусство... – И он помолчал. – Надеюсь, господа, что вы не воспользуетесь моей откровенностью.

– Благодарю вас, полковник, от всей души благодарю. – Скобелев встал. – В молчании нашем можете не сомневаться.

На прощанье он так стиснул руку Артамонова, что Николай Дмитриевич долго еще тряс худыми пальцами после ухода неожиданных гостей.

3

Если пользоваться иносказанием Артамонова, то Скобелев принадлежал к тем полководцам, которые умели побеждать, но способности «воевать» были лишены напрочь. Михаила Дмитриевича никогда не интересовали генеральские интриги, своевременная забота о возможных провалах собственных планов и прочая околотабная суета. Он был человеком действия, а не закулисных махинаций и кулуарных подсиживаний, строил свою военную карьеру сам и с брезгливостью относился ко всякого рода ловкачеству. Отругавшись, сколько того требовал темперамент, выбросил из головы все, что не касалось его, и начал энергично собирать и готовить вверенный ему отряд.

Кавказская бригада пришла вовремя, но с подполковником Баклановым непосредственного контакта не было. Бакланов вновь занял Ловчу, но сил у него было недостаточно, и все понимали, что в городе он долго не продержится. Скобелев намеревался бросить силы на поддержку Тутолмина, но ему приказано было временно воздержаться от этого, обратить все внимание в сторону Плевны и не распылять сил. Одновременно с этим приказом пришло и приглашение на военный совет; Михаил Дмитриевич оценил разницу между приказом явиться и приглашением присутствовать, но не поехал не из-за генеральского гонора.

– Лягну я там правду-матку, – сказал он Паренсову. – Они же пугать друг дружку силами Османа-паши начнут, а я, боюсь, не выдержу. Ну их с их советами к Богу в рай: давай лучше делом займемся. Ты мне связь с Баклановым налажь, Петр Дмитриевич.

Через день подполковник Бакланов после артиллерийской перестрелки с наступающим неприятелем оставил Ловчу, семь часов без толку простояв под огнем. Ворвавшиеся вместе с

регулярной пехотой башибузуки учинили в Ловче страшную резню. Об этом Бакланов донес Скобелеву запиской.

– Болгары кричат, спасу нет, – горестно вздохнул казак, доставивший записку. – Женщин да детишек режут прямо, можно сказать, на глазах. Слушать сил нет, хоть землю грызи.

– А помочь не можете? – недовольно спросил Скобелев. – Кони у вас приморились, что ли?

– Там на коне не проскачешь, ваше превосходительство, там горы кругом да овраги. Пехота нужна.

Казак был крепок, немолод, с новеньким Георгием, но без традиционного донского чуба. Да и фуражку носил прямо, по-пехотному, а точнее – как показалось Скобелеву – по-крестьянски: надвинув на уши, а не лихо сбив на сторону.

– За что Георгия получил?

– Награжден за форсирование реки Прут лично его императорским величеством.

– Какой станицы?

– Да я смоленский, – смущенно улыбнулся в бороду казак. – В казаки зачислен по желанию общества и по согласию их высокоблагородия полковника Струкова.

– Скажи, что я велел дать тебе чарку, и ступай.

Казак вышел. Скобелев еще раз, уже со вниманием, перечитал записку. Бакланов сообщал обстоятельства, по которым вынужден был оставить Ловчу, и свое решение: перекрыть пути между Ловчей и Сельвой.

– Правильно решил, – согласился Паренсов.

– Правильно, если турок все время тормозить будет, – сказал Скобелев. – Пиши приказ на активную демонстрацию, вели дать казаку свежего коня и пусть немедля скачет к Бакланову. И – разведку во все стороны. Чтоб к утру я все знал.

Вечером неожиданно прибыли гости: князь Насекин и Макгахан. Гости были свои, особого внимания не требовали, и генерал продолжал работу с Паренсовым и Тутолминым, изредка включаясь в разговор. Получив наконец-таки долгожданную самостоятельную задачу, он был оживлен и весел, что не мешало ему, однако, дотошнейшим образом изучать обстановку, пользуясь картой, сведениями Тутолмина и теми, которыми сам пока располагал.

– Господа, я совершил великое открытие, – с обычной ленцой рассказывал князь. – Исполняя обязанности представителя Красного Креста, я посетил лагерь для пленных. И что же я обнаружил? Оказывается, у турка, у этого нехристя и звероподобного существа, как утверждает наша уважаемая пресса, имеются две руки, две ноги и, представьте себе, голова.

– А слышать вам не приходилось? – спросил Скобелев, не отрываясь от кипы донесений разездов.

– Что именно?

– Как кричат болгарские женщины и дети, когда их режут эти две руки и топчут две ноги с турецкой головой? Ну так поезжайте к Ловче, я вам и конвой выделю.

– Это дело башибузуков, – сказал Макгахан.

– Вы уверены, дружище? Я тоже не уверен. Враг есть враг, война есть война, а женщина есть женщина. Когда вы, князь, постигнете это триединство, тогда я поверю, что вы очнулись от спячки и кое-что начали соображать.

– Возможно, – князь пожал плечами. – Следовательно, либо мне пока везет, либо я бесчувствен, как полено.

– Полагаю, что вам скорее везет, – проворчал Тутолмин. – Впрочем, это ненадолго.

Он был не в духе. Подчинение Скобелеву лишало его самостоятельности, к которой он уже успел привыкнуть. Кроме того, он хорошо знал Михаила Дмитриевича и не без оснований опасался, что во имя решения поставленной задачи генерал не пощадит его, по сути, еще не воевавшую бригаду.

– Вы что-то уж очень загадочно помалкиваете, Макгахан, – сказал Скобелев, поскольку после замечания Тутолмина гости озадаченно примолкли. – Вы же всегда набиты сплетнями и слухами, как солдатский ранец, а сегодня не раскрываете рта. Наслаждаетесь собачьим коньяком?

– Вам нужны сплетни или слухи?

– Валите вперемешку, как-нибудь разберемся: мой начальник штаба окончил в академии по первому разряду.

– По линии сплетен могу сообщить, что некий барон лично ходатайствовал перед главнокомандующим, дабы переправить вас обратно в резерв.

– Чем же я так не угодил барону? – весело спросил Скобелев.

– Барон привык катать шарики, а вы – игральная кость и всегда умудряетесь выставить ту грань, которую считаете для себя наиболее подходящей, – пояснил Макгахан.

– Это очень похоже на правду, дружище, – улыбнулся Скобелев. – Это так похоже на правду, что я с особым нетерпением жду своей разведки. Кстати, когда она наконец явится, Тутолмин?

– Думается, к утру.

Разведка прибыла раньше, а результаты ее были столь неожиданны, что генерал заставил хорунжего Кубанского полка Прищепу трижды повторить рапорт, задавая вопросы едва ли не по каждому пункту. Но кубанец знал, что докладывал, поскольку лично исползал все три хребта Зеленых гор, прикрывавших Плевну с юга.

– Никаких укреплений там нет, ваше превосходительство. Да и турок не видно: в кустах одни спешенные черкесы хоронятся.

– Как же ты мимо них проскользнул, хорунжий?

– Известно как, ваше превосходительство, – улыбнулся кубанец. – По-пластунски.

– Молодец! – Скобелев порывисто обнял молодого, но уже бывшего казака. – Скажи капитану Млынову, чтобы накормил тебя и казаков, и не отлучайся, скоро понадобится. – Проводив до дверей кубанца, резко повернулся к полковникам: – Какова новость, а? Тутолмин, готовь осетинские сотни: я хочу сам эти горы прощупать.

На заре две сотни спешенных осетин двинулись к первому гребню Зеленых гор. Невысокие, но крутые кряжи их сплошь заросли дубняком и диким виноградом и впрямь выглядели зелеными на фоне остальных возвышенностей. Еще на подходе осетины были встречены разрозненной стрельбой, залегли, как было приказано, но, увидев замелькавших в кустах черкесов, вскочили как один и, выхватив шашки, бросились вперед.

– Отводи! – бешено закричал Скобелев, наблюдавший за разведкой боем. – Отводи осетин немедленно, пока их в кусты не заманили!

Хорунжий Прищепка, вскочив на коня, карьером помчался навстречу выстрелам. Вертясь перед осетинами и не обращая внимания на черкесские пули, кое-как остановил их, привел в соображение и отвел назад. Осетины яростно ругались: у них с черкесами были свои старые счеты. Водивший обе сотни есаул Десаев, смахивая ладонью кровь с тронутого пулей лба, зло крикнул генералу:

– Зачем собак с миром отпускаешь? Их резать надо, генерал, они стариков не жалеют, женщин не жалеют, а ты их жалеешь?!

– Успеешь рассчитаться, есаул, – улыбнулся Скобелев. – Уж это я тебе обещаю.

Он вдруг ощутил знакомую волнуемую дрожь: предчувствие, что нащупал, угадал, уловил главное в предстоящем бою. Да, перед ним был лишь заслон из пешех иррегулярных частей Османа-паши: ни укреплений, ни тем паче артиллерии на этом участке обороны Плевны не было.

– Тут и пойдем, – сказал он на немедленном собранном совете. – Но нужна пехота, очень нужна, позарез нужна: кавалерии здесь делать нечего, только лошадей покалечим. Тутолмин,

готовь бригаду к пешему бою. – Дождался, когда полковник вышел, схватил за сюртук Паренсова, подтянул к себе. Спросил шепотом, с яростным восторгом сверкая синими глазами: – Ты понял, где собака зарыта, Петр Дмитриевич? Ну так скажи к Криденеру, втолкуй, упроси, умоли, наконец, что тут, на Зеленых горах, надо главный удар наносить. Скажи, что я начну, что вышвырну черкесов к чертовой матери, но мне нужна по крайней мере еще хоть одна батарея и не менее трех батальонов пехоты. Я бы и сам помчался, да ведь ты знаешь, как барон взъерепенится, меня увидев. Голубчик, Петр Дмитриевич, как на Господа Бога на тебя уповаю: саму жар-птицу за хвост ведь держим!

– Криденер упрям, как старый мерин, – хмуро сказал Паренсов. – Он приказов своих не отменяет. Да и главнокомандующий уже благословил диспозицию.

– Что бы ни было, а без пехоты не возвращайся, – жестко сказал Скобелев. – Это уж мой приказ, полковник. Ступай и исполняй.

Нахлестывая коня, Паренсов думал, как, какими словами пробить остзейскую спесь, гипертрофированное самолюбие и вошедшее в поговорку упрямство Криденера, предполагая, впрочем, что барон и слушать-то его не станет, а отошлет к Шнитникову. Но Николай Павлович принял Паренсова без промедления не потому, правда, что так уж жаждал новостей от «Халатника», а имея в соображении особое отношение к полковнику Паренсову наверху. Молча выслушал все, что логично, последовательно и без всякой горячки доложил ему Петр Дмитриевич, и отрицательно покачал массивной головой.

– Приказ отдан, полковник. Отдан и утверждён его высочеством.

– Мне кажется, что победа стоит того, чтобы просить его высочество об отмене старого приказа и утверждении нового.

– Это только кажется. Генерал Скобелев хорош для налетов, наскоков, может быть, даже для развития тактического успеха, но как стратег он равен нулю, – неторопливо и важно сказал Криденер. – Холодный ум есть муж победы, а не легкомысленный гусарский порыв незрелого вождя, испорченного к тому же легкими завоеваниями полудиких племен. Это – азбука, полковник, удивлен, что вынужден вам, – он подчеркнул обращение, – напоминать о ней. Я уж не говорю о том, какие невероятные перемещения войск стоят за этой скобелевской фантазией. Прошу повторить вашему непосредственному начальнику, что задача его сугубо второстепенная: не допустить соединения сил Османа-паши с турками в Ловче и продемонстрировать атаку. Только продемонстрировать, большего я от него не требую и не жду.

Паренсов понял, что разговор исчерпан: никакая логика, никакие доводы рассудка не могли сдвинуть Криденера с уже избранной им позиции. Оставалось последнее: выпросить пехоту и артиллерию. Это был приказ, и уж тут-то Паренсов был готов бороться до конца.

– Демонстрация Скобелева будет эффективнее, если вы, Николай Павлович, усилите его хотя бы тремя батальонами пехоты и конной батареей. По условиям местности мы не можем активно использовать кавалерию, и, следовательно, Осман-паша, убедившись в нашей слабости, оставит всю нашу демонстрацию без внимания. Между тем наличие пехоты и артиллерии даже на второстепенном направлении неминуемо заставит его оттянуть часть сил с других участков обороны.

Криденер долго молчал, размышляя. В рассуждениях Паренсова была не просто логика, но и прямое обещание облегчить атаку на избранном им направлении главного удара. Если «Халатник», получив пехоту, так и не справится с этой задачей, то сослаться ему будет не на что, кроме как на собственную неспособность вести современный бой с европейским противником. В этом варианте Криденер только выигрывал, решительно ничем не рискуя.

– Скажите Шнитникову, что я приказал выделить в распоряжение Скобелева одну батарею и один батальон пехоты.

– Один батальон? – растерянно воскликнул всегда невозмутимый Паренсов. – Всего один батальон? Ваше превосходительство...

– Один батальон Курского полка и одну батарею, – деревянным голосом повторил Криденер. – И я не задерживаю вас более, полковник.

Но Паренсов все же чуть задержался. В нем все кипело от бессильного возмущения, и только тренированная воля еще сдерживала порыв. Он хотел сказать Криденеру, что тот уже проиграл сражение, проиграл бесславно и кроваво, и – не сказал. Сухо поклонился и медленно вышел из кабинета.

Если генерал Скобелев знал, как достичь победы, то барон Криденер точно так же знал, как надо воевать, чтобы не испортить собственной карьеры. Проведя еще одно, очень узкое совещание с командирами основных отрядов, он отдал приказ произвести атаку Плевны на рассвете 18 июля 1877 года. Но, даже отдав этот приказ, барон тотчас же отрядил нарочного к великому князю главнокомандующему с целью испросить еще одного решительного подтверждения. В ночь на 18 июля к барону Криденеру прибыл ординарец главнокомандующего штабс-капитан Андриевский со словесным приказанием:

– Атаковать и взять Плевну: такова воля его высочества.

Участь второго наступления на Плевну была решена вторично и на сей раз уже окончательно.

4

В Баязетскую цитадель в тот роковой день рекогносцировки успели отойти не все. Опасаясь курдов, наседавших на беспорядочно отходящие, измотанные беспрестанными бросками роты, комендант капитан Штоквич приказал закрыть ворота, как только пропустил основную массу солдат и казаков, оставив калитку для тех, кто запоздал. Сюда, в узкую щель, с детьми, женщинами и скарбом ринулись армяне и греки-торговцы; паника, вопли женщин, плач детей, невероятная толчея – все это оттеснило запоздавших солдат, многие из которых были ранены. Кто залег, отстреливаясь и прикрывая обезумевших от ужаса жителей, кто упрямо рвался к заветной калитке, но большинство бросились искать спасение в запутанных лабиринтах старого города, в покинутых домах армян, у оседлых курдов и таких добродушных доселе местных турок. Почти все эти солдаты были либо убиты на месте, либо схвачены, встретив, вместо помощи, выстрелы из-за угла. Вспыхнувшая на улицах разрозненная стрельба и крики вскоре затихли, гарнизон завалил каменными плитами не только ворота, но и калитку; враждебный город и осажденная крепость затаились, словно прислушиваясь друг к другу, и даже команды в цитадели отдавались в этот первый вечер осады настороженным шепотом. Проходя двором, забитым ставропольцами, Гедулянов подумал вдруг, что приглушенность эта оттого, что в дальней комнате умирает сейчас Ковалевский.

Подполковник мучительно расставался с жизнью. Он потерял много крови, волокни его на бурке торопливо, впопыхах, часто роняя; тогда он еще сохранял сознание, и все толчки и броски отдавались в огнем горевшем животе: ему казалось, что курдский свинец продолжает все глубже и глубже проникать в него при каждом сотрясении, разрывая ткани и отравляя кровь. Но он был воин, он знал, что такое паника в бою, и поэтому сосредоточился на одном: не вскрикнуть, не застонать, задавить боль, стиснув зубы.

Не стонал он и сейчас, хотя боль все росла и росла в нем, точно большой мохнатый паук. Паук этот ворочался там, внутри, как живой, вонзаясь в незащитные внутренности, терзая их внезапной, нестерпимо вспыхивающей болью, от которой подполковник покрывался липким холодным потом. Сидя у изголовья, Тая то и дело осторожно вытирала его лоб и лицо, и он все время видел ее глаза: огромные, наполненные не ужасом – болью. А Китаевский лишь беспомощно разводил руками да без толку рылся в походной аптечке. Гедулянов сидел с другой стороны, держал подполковника за руку и что-то говорил: об отряде, о крепости, об отступлении. Ковалевский не слушал. Ему уже не нужно было ни прошлое, ни настоящее. Необходимостью

стало будущее, которого у него не было, но о котором он не переставал думать. И молчал, не отвечая на вопросы и никак не отзываясь на доклад Гедулянова.

– Он в сознании? – тихо спросил капитан, уловив это странное безразличие.

Максимилиан Казимирович не успел ответить. Подполковник с трудом разлепил сухие, провалившиеся губы:

– Штоквича.

– Я сам, сам, не беспокойтесь, – поспешно забормотал Китаевский, бросаясь к дверям.

– Матери скажешь, убит сразу, – сказал подполковник, пристально глядя в Таины глаза. – Сразу. Не мучился.

Оттого, что отец впервые за эти часы обратился к ней, Тая вдруг не выдержала. Слезы сами собой потекли по щекам, а глаза оставались, как прежде, полными боли и отчаяния. Не в силах ничего выговорить, боясь, что разрыдается, закричит, она лишь часто закивала головой, и в этот момент вошел Штоквич. Он уже знал, что подполковник безнадежен, что страдать ему осталось считанные часы, но думал не о нем и не об отступлении, а о том лишь, что предстоит сделать. И потому сразу же, еще в дверях, сказал сурово и непреклонно:

– Вы поступили в армию плакальщицей или сестрой милосердия, сударыня? По штатному расписанию – сестрой, а посему извольте исполнять долг: лазарет нуждается в вашей помощи.

И посторонился, давая дорогу. Тая поспешно встала, не зная еще, как поступить: остаться ли с умирающим отцом, или исполнять то, что приказано. Но Ковалевский из последних сил улыбнулся ей одобряющей, мягкой улыбкой, и Тая, поцеловав его в потный лоб, поспешно пошла к выходу.

– Обождите за дверью, – внезапно сказал Штоквич; дождался, когда она выйдет, приглушенно сказал Гедулянову: – Проводите ее дальними коридорами, чтобы не слышала криков: курды режут армян в городе.

Гедулянов молча вышел. Штоквич плотно прикрыл дверь, прошел к табурету, на котором до этого сидел капитан, сел, положив на острые колени крепко сжатые кулаки, долго молчал.

– Вы – самая большая потеря наша, – сказал он наконец. – Самая тяжелая потеря.

– Из пушек не бьют? – борясь со все нарастающей нечеловеческой болью, спросил Ковалевский. – Противник не открывал артиллерийского огня?

– У них нет пушек. Пока, во всяком случае, нет.

– Скверно.

– Что? – Штоквич нагнулся к умирающему. – Вам скверно?

– Скверно, что у них нет пушек, – раздельно сказал Ковалевский. – Без пушек они не станут вас штурмовать.

Он сказал «вас штурмовать», уже отрицая себя и думая о других: о тех, кого оставлял, и о том, кто оставил его самого сторожить Ванскую дорогу. Штоквич уловил первое, но не понял второго.

– Ну и слава Богу.

– Надо заставить их штурмовать. Заставить. Задержать тут, у Баязета. Иначе... – Подполковник крепко стиснул зубы, пережидая, когда утихнет очередной накат боли, когда разомжмет челюсти этот страшный мохнатый паук, рожденный курдским свинцом.

– О чем вы? – сдерживая раздражение, спросил Штоквич. – Цитадель не приспособлена к обороне, она стара и неудобна. Пусть себе идут куда угодно и курды, и Шамиль, и вся эта сволочь.

– Они не пойдут куда угодно. Они пойдут в Армению, капитан.

Штоквич долго молчал, поглаживая колени худыми нервными пальцами. Он догадался, чего боится подполковник, но не знал, как можно помешать восставшим курдам и черкесам Шамиля сделать это.

– Вы просите меня привязать противника к Баязету, полковник? Я не в силах этого...

– Я не прошу, – строго перебил Ковалевский. – Я приказываю. Именем генерала Тергукасова я назначаю вас старшим.

– Я – интендант, – криво усмехнулся Штоквич. – Я понимаю, что полковника Пацевича нельзя брать в расчет: он уже растерялся, но есть же, в конце концов, капитан Гедулянов, ваш помощник. Почему же именно я?

– Потому что вы жестоки, Штоквич, – вздохнул подполковник. – Вы найдете способ, как заставить врага убивать вас, а не армянских женщин и детей.

Он замолчал. Молчал и Штоквич, жестко сдвинув брови и продолжая машинально поглаживать ладонями колени. Потом сказал:

– Благодарю, полковник. Я исполню свой долг.

– Одна просьба... – Даже сейчас, превозмогая боль и уже чувствуя, как снизу, от ног, подкатывается цепенящий последний холод, Ковалевский говорил смущенно.

– Сейчас я пришлю вашу дочь.

– Нет, не то. Извините, глупость, конечно... Не сбрасывайте мое тело со стены. Тае будет тяжело это.

– Я предам ваше тело земле. Позвать вашу дочь?

– Если возможно. И оставьте нас с нею вдвоем.

Штоквич резко выпрямился. Качнулся, точно намереваясь шагнуть к дверям, но вдруг деревянно согнулся, коснувшись губами лба умирающего.

– Прощайте.

Отослав Таю к отцу, Штоквич переходами – они были узки, темны и запутанны, и комендант подумал, что следует сделать проломы, которые соединяли бы дворы крепости напрямую, – направился к воротам. И чем ближе подходил он к ним, тем все яснее и громче слышались крики, треск костров и пожаров и редкие выстрелы.

У входа в первый двор, где бестолково сновали солдаты и казаки, возбужденно переговариваясь и ругаясь, Штоквич наткнулся на офицера. Молодой поручик сидел на камне, закрыв лицо руками, раскачиваясь и глухо бормоча. Бормотал поручик по-грузински – Штоквич жил в Тифлисе и понимал язык, – то разражаясь проклятиями, то вспоминая сестру и мать, и комендант остановился.

– Что с вами, поручик?

– Не могу! – Чекаидзе вскочил, обеими руками ударив себя в грудь. – Женщин насилуют, стариков режут, детей в огонь бросают, а мы за стеной прячемся? Вели открыть ворота, капитан: лучше в бою умереть, чем это видеть. Как я в глаза матери своей посмотрю? Что отвечу, если спросит: а ты где был в это время, сын мой? Как невесте скажу, что люблю ее? Как?

По заросшему черной щетиной лицу Ростом от гнева и бессилия текли слезы. Всклипывая, он мотал, как лошадь, головой и мям на груди мундир.

– Вы потеряли бритву? – как можно спокойнее спросил Штоквич. – Одолжите у кого-нибудь и немедленно побрейтесь.

– Не понимаю...

С крыши второго этажа прогремел выстрел, и тотчас же раздался дружный солдатский хохот. Злой и торжествующий.

– Попал!

– Мордой в костер свалил!

– Молодец, юнкер! Ай да выстрел!

– Кто там стреляет? – спросил Штоквич примолкшего поручика.

– Не знаю точно. Кажется, юнкер Уманской сотни Проскура.

– Хорошо стреляет?

– Руки не дрожат, – криво усмехнулся Ростом.

– Вы тоже постарайтесь не порезаться, когда начнете бриться, – сухо сказал комендант.

Он поднялся на плоскую крышу второго этажа, где стояли несколько казаков и солдат и откуда юнкер Проскура лежал вел редкий прицельный огонь. Комендант прошел к низкому каменному парапету и замер, ощутив вдруг, что даже его железные нервы не выдерживают того, что открылось глазам.

Вблизи от крепостных ворот, там, где совсем недавно шумел разноязыкий базар, горел огромный костер, широко раздвинув густую южную темень. Вокруг костра толпилось множество людей, слышался хохот, исступленные женские крики, плач детей, вопли и стоны истязуемых.

Все это происходило хотя и недалеко, но все же вне досягаемости обычного ружейного огня. Наблюдавшие с крепости казаки порой стреляли, но пули уходили в сторону, и только белый как марля семнадцатилетний юнкер Леонид Проскура, закусив губу и не чувствуя ни боли ни крови, что текла по подбородку, стрелял редко, и, если попадал, осажденные взрывались торжествующим смехом и яростной матерщиной, хоть в этом отводя душу.

– Пушку сюда не втащить, пробовали, – тихо сказал кто-то за спиной.

Штоквич оглянулся. Перед ним стоял молодой поручик.

– Артиллерист?

– 19-й артиллерийской бригады поручик Томашевский.

– Соберите всех господ офицеров. У меня. Всех.

Штоквич так и не узнал, что в тот момент, когда он отдал первое приказание, как единственно старший в цитадели, подполковник Ковалевский в последний раз чуть сжал пальцы дочери, судорожно вздохнул и затих навсегда. А Тая до рассвета сидела не шевелясь, чувствуя, как холодеют руки отца. И уже потом, много дней спустя, ее долго и нудно отчитывал Китаевский, которому лишь с большим трудом удалось правильно сложить на груди руки покойного.

Офицерское собрание, которое созвал Штоквич, решало один, но чрезвычайно важный для коменданта вопрос. Капитан Штоквич поставил его со свойственной ему прямоотой:

– Положение наше крайне опасное, если не безнадежное. Мы обложены со всех сторон, связи наши нарушены, противник жесток и беспощаден, а силы далеко не равны. При создавшейся обстановке я, как комендант цитадели, где размещены остатки наших частей, решительно объявляю себя старшим в должности и требую от всех вас беспрекословного подчинения, невзирая на чины и звания.

– Если все решено, то к чему этот совет? – благодушно спросил хан Нахичеванский. – Что до меня, то я не рвусь в главнокомандующие.

– Позвольте, позвольте. – Полковник Пацевич встал, выпятив грудь. – Я решительно не понимаю происходящего. В присутствии штабс-офицеров вы, господин, проходящий по санитарной части, осмеливаетесь узурпировать... Да, да, именно узурпировать, иначе не могу выразить...

– Я – комендант крепости, – холодно прервал Штоквич. – Если вам, господин полковник, не угодно мне подчиниться, я вас не неволю. Но прошу в этом случае покинуть вверенную мне должностью моей территорию.

Пацевич презрительно дернул головой, сел, но тотчас же вскочил снова.

– А где же турки, господин комендант крепости? Где турки, которыми нас так пугали? Где они? Где?

– А вам турок не хватает? – усмехнулся командир уманцев войсковой старшина Кванин. – Молите Бога, что их нет доселе. – Он помолчал. – Уманцы в вашем распоряжении, капитан.

– Ставропольцы тоже, – подхватил Гедулянов.

– И хоперцы, – из другого угла отозвался сотник Гвоздин.

– Все в вашем распоряжении, господин капитан, – громко сказал стоявший у дверей поручик Томашевский. – Вы совершенно правы: ситуация требует единоначалия и беспощадной строгости.

– Я не признаю этого! – крикнул Пацевич и демонстративно направился к выходу, расталкивая офицеров. – Это самоуправство и попрание чести старших в чинах и званиях. Я доложу об этом самому государю. Вас ждет суд, Штоквич!

Последние слова он прокричал уже из коридора. Офицеры хмуро молчали, только Томашевский презрительно кривил тонкие губы.

– А вы, хан, тоже доложите о моем самоуправстве? – спросил комендант.

– Нет, не доложу. – Хан грузно поерзал на неудобной скамье. – Только не поручайте мне ничего. Я – кавалерист, и соображаю, когда сижу в седле. Кроме того, я числюсь больным.

– Благодарю, хан. Вы свободны. Командиров частей прошу задержаться.

В узком кругу Штоквич сказал то, что так беспокоило умирающего Ковалевского: путь на Игдырь и далее был практически открыт для восставших курдов, черкесов Шамиля и конных банд башибузуков. Мало того, что это ставило обремененный беженцами и обозами отряд Тергукасова в чрезвычайно сложное положение, отрезая его от баз, – это означало поголовную резню мирного населения.

– Вы сегодня видели, господа, что ожидает пограничную полосу, если мы не оттянем противника на себя. Следовательно, первейшая задача наша – заставить эту орду уничтожить нас.

– Без артиллерии они на штурм не пойдут, – заметил Томашевский. – А турок что-то пока не видно.

– Если вздумают уходить и оставят заслон – прорвем и ударим в спину, – сказал Гедулянов. – Но это – крайняя мера: в поле мы долго не продержимся.

– Готовить цитадель к штурму, – подумав, распорядился Штоквич. – Заложить окна, оставив амбразуры. Запастись водой на случай осады. Составить расписание дежурных частей, усиленных караулов и специальных команд. Пока все. Свободны, господа. Прошу прислать ко мне драгомана генерала Тергукасова.

Молодой человек вошел почти беззвучно и молча остановился у двери. Штоквич ходил по комнате, размышляя. Потом отрывисто спросил:

– Где турки?

– Не знаю, – Тер-Погосов пожал плечами. – Отряд Фаика-паши двигался к Баязету, о чем мне приказано было известить. Я известил.

– Знаете курдский язык?

– Да. Я вырос в этих местах.

– Мне необходимо во что бы то ни стало доложить генералу Тергукасову, что мы сделаем все возможное, чтобы заставить противника штурмовать цитадель, но... – Штоквич пожал плечами. – Там должны быть готовы к возможному вторжению.

– Я понял вас, господин капитан.

– Это не приказ, поймите, – это мольба. Если исполните, обещаю вам, что хотите: золото, Георгиевский крест...

– Нет.

– Что – нет? – с раздражением переспросил Штоквич.

– Золота мне не нужно, а ордена я добуду сам. Если я исполню то, о чем вы сказали, я хотел бы получить право сражаться в качестве боевого офицера.

– Ищете славы? – усмехнулся комендант.

– Я – армянин, но я всю ночь простоял на крыше. Всю ночь до приказа явиться к вам. Я никогда не думал, что смогу выдержать то, что видели мои глаза. Обещайте же дать мне возможность с наибольшей пользой применить к делу мою ненависть.

- Я обещаю исходатайствовать для вас офицерский чин, Тер-Погосов.
- Благодарю вас, капитан. Уже светает, и мне пора.

Молодой человек поклонился и вышел. Штоквич долго стоял в раздумье, потом сел к столу и написал первый приказ. В третьем параграфе этого приказа значилось:

«3. Сего числа предать земле тело умершего от ран, полученных в деле 6 июля, подполковника Ковалевского. Могилу вырыть в дальнем подвале северного фасада на глубину в две сажени; после опущения тела засыпанную землю утрамбовать».

Подписывая приказ, комендант еще не знал, что подполковника Ковалевского и в самом деле уже нет в живых. Он лишь логически предполагал это и помнил последнюю просьбу.

5

Утром следующего дня по распоряжению коменданта во внутреннем дворе цитадели были выстроены особо отряженные представители всех воинских частей. По знаку Штоквича солдаты взяли ружья «на караул», офицеры обнажили сабли, и из Тайной комнаты капитан Гедулянов, поручик Чекаидзе, полковник хан Нахичеванский, войсковой старшина Кванин, сотник Гвоздин и поручик Томашевский вынесли гроб с телом подполковника Ковалевского, накрытый знаменем 2-го батальона 74-го Ставропольского полка. Следом за гробом шли Тая и Максимилиан Казимирович Китаевский. Барабанщики ударили дробь, гроб установили в центре каре, и Штоквич встал в головах. Он никогда не произносил речей, да и не любил их, и поэтому читал по бумаге.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.